



Борис Евгеньевич Тумасов
Зори лютые
Серия «Во славу Отечества»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6000953

Зори лютые: Вече; М.: 2012

ISBN 978-5-4444-0016-6

Аннотация

Русь начала XVI века. Идет жестокая борьба за присоединение к Москве Пскова и Рязани, не утихает война с Речью Посполитой. Суров к усобицам великий князь Московский Василий III, и нет у него жалости ни к боярам, ни к жене Соломонии – в монастырь отправит ее. Станет его женой молодая Елена Глинская – будущая мать царя Ивана Грозного...

Блестящий и пронзительный в своей правдивости роман от мастера исторического жанра!

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	16
Глава 3	26
Глава 4	37
Глава 5	48
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Борис Тумасов

Зори лютые

Глава 1

Государь

Смерть Ивана III. Государь Василий III. Братья государевы. Великая княгиня Соломония. Митрополит Симон и игумен Иосиф

В октябре лета тысяча пятьсот пятого тяжело и долго умирал государь всея Руси, великий князь Иван Васильевич. То терял разум, то приходил в себя.

За стеной октябрь-грязевик сечет косым дождем, плачут потеками слюдяные оконца. А может, то слезы катятся из открытых глаз великого князя Ивана Васильевича?

Помутившимися очами обвел он палату. Скорбно замер духовник Митрофан. Опершись на посох, застыл митрополит Симон. В ногах, горем придавленные, недвижимы Михайло и Петр Плещеевы, с ними князь Данила Щеня – верные слуги Ивановы.

А вона бояре Твердя и Версень шепчутся. У Версеня на губах ухмылка. Увидев государев взор, замолкли. Ну, эти, верно, рады его смерти. Сколько помнит он, Иван, они были врагами его самовластия, хотя и молчали, опалы опасаясь. Великому князю подняться бы сейчас да прикрикнуть на них, псами б поползли. Ан нет силы не то что рукой пошевелить – языком поворотить.

В стороне от бояр дьяки, дворянство служилое. Опора его, Ивана, единовластия. Стоят плечом к плечу, сникли.

Глаза Ивана Васильевича ненадолго остановились на сыне Василии. И не поймет, скорбит ли он об отце либо радуется, как те бояре Твердя и Версень, да и лишь на людях сдерживает довольство свое, что власть над всей землей Русской на себя принимает.

Сын худой, с крупным мясистым носом на бледном лице и короткой темной бородой. На мать, Софью, похож. Только и того, что ростом высок... Глаза тоже ее, черные, ровно насквозь прожигают.

Вспомнил Иван Васильевич жену, подумал:

«Ах, Софья, Софья, ненадолго пережил тебя. Как годы пробежали! А давно ль то было, как привезли тя на Русь из далекого Рима? И хоть не имелось за тобой царства, ибо дядька твой, византийский император, бежал из Византии, изгнанный турками-османами, но была ты умом и душой царьградской царевной...»

И снова мысли о Василии:

«Хитер он, и хитрость та тоже от матери. Но это хорошо, без хитрости как править будет? Разве только зол не в меру. Поладил бы с братьями своими, пусть себе сидят на княжении по тем городам, что выделены им. Проститься бы с ними, взглянуть на Димитрия, угличского князя, и на Семена, что в Калуге на княжение посажен, и на Юрия, князя дмитровского. Андрейки – и того нет нынче у постели. Видать, не допустили, малолетство щадят. Сколько это ему? На двенадцатый годок перевалило. Сыновья его, Ивана, кровь, плоть от плоти... Может, и в обиде они на него, что Василию шесть на десять городов завещал, им же на всех вполонину мене дадено. Но для того, чтоб не было меж ними уособиц. И брата старшего за отца чтили. Наказать бы сейчас Василию при митрополите, да голоса нет и грудь давит. Промчалась жизнь, аки мгновенье, в суете и хлопотах. За Русь радел и своєю не

забывал, не поступался ни в чем, никому. Ныне настала пора расстаться со всем, и сменятся заботы вечным покоем.

По-обидному быстро промчалась жизнь. Суетное время отмерило ему, государю Ивану, свое...»

Над умирающим склонился Василий. Взгляды отца и сына встретились. Что прочитал Василий в глазах отца, почему быстро отвел взор?

Иван Васильевич спросить хотел о том, но вместо слов из горла хрип вырвался и тут же оборвался.

На ум пришла далекая старина, когда захлестывала Русь княжья и боярская котора. Тогда Шемяка, захватив великого князя Василия Васильевича, отца его, Ивана, ослепил и сам великим князем сел на Москве. Да не надолго...

Все вспомнилось с детства ясно, четко. Вот он, мальчишкой, уцепившись за подол бабкиной юбки, с ужасом взирает в пустые, кровоточащие глазницы отца. Не оттого ли он, Иван, став великим князем, карал усобников, как было с новгородцами. И даже за высокоумничанье не то что бояр, князей не миловал. Князю Семену Рязанскому-Стародубскому велел голову отрубить, а князя Ивана Юрьевича Патрикеева с сыном Василием в монахи постриг. Васька Патрикеев, иноческий сан приняв и нарекшись Вассианом, противу монастырского добра поднялся!

Нежданно мысль переметнулась на иное. Припомнился Ивану Васильевичу поход на хана Ахмата. То было в лето тысяча четыреста восьмидесятое. На Угре простояли долго. По одну сторону реки русские полки, по другую – татарские. Не осмелились недруги перейти Угру и убрались ни с чем.

Ныне иные времена настали для Казанской орды. Им бы в пору себя оборонить. Близится пора Казань к рукам прибрать. Сегодня в силе великой крымцы. С ними надобно насто-роже быть. Особливо когда они с Литвой заодно. Дочь Елена хоть и жена короля польского и великого князя Литовского Александра, но города русские Литва добром не отдаст.

И снова мысли о прошлом... Поход на Новгород Великий припомнился. Горит Торжок, пылают пограбленные новгородские деревни, льется кровь именитого новгородского боярства. Страшно. Тогда, по молодости, не думалось о том, а ноне привиделось – и боязно. Однако же прогнал страхи, мысль заработала четко. Так надобно было, иначе как государство воедино собирать, когда боярство новгородское задумало к Литве передаться, под литовского князя город отдать и люд на войну с Москвою подбивало.

Вот она, смерть, над ним, Иваном, витает. Чует он на своем лице ее дыхание. А сколь еще несконченного сыну Василию наследовать! Смоленск и Киев за королем польским и великим князем литовским! Волынь – за угорским королем; казанский царек Мухаммед-Эмин возомнил себя ноне превыше государя Московского.

Ох-хо-хо! Какую Русь оставляю на тебя, сыне Василий? Устроенную? Нет, много еще возлагаю на твои плечи вместе с шапкой Мономаха...

И у Василия в голове от мыслей тесно... Глядит на умирающего отца, и прошлое вспоминается, мнится будущее. И то, как когда-то по наущению бояр отец, озлившись на Софью, мать Василия, великое княжение завещал не ему, Василию, а внуку от первой жены – Дмитрию.

Много стараний приложила тогда мать, чтоб отец изменил свое решение и ему, Василию, власть вернул.

Мудр был отец и радел о государстве. Хотел Русь видеть царством повыше Римского и Византийского.

Василий склонился над ложем, приподнял безжизненную отцову руку, приложился к ней губами, сказал внятно:

– Исполню, отец, все твои заветы и править зачну, как учил ты меня.

Иван Васильевич чуть приметно улыбнулся. Он услышал от сына слова, каких ждал. Лицо умирающего стало спокойным. Жизнь покинула его.

* * *

Тело Ивана Васильевича положили в церкви Успения. Народ спозаранку повалил проститься с государем. Василий устал. С полуночи не отходил от гроба. Черный кафтан отгнетил и без того бледное лицо. От бессонницы под глазами отеки.

Поднял голову, огляделся. Рядом – съехавшиеся на похороны братья: Юрий, похожий на него, Василия, брюзглий Семен, настороженный, нелюдимый, Дмитрий – добродушный толстяк, к нему жметя маленький Андрейка, красивый, белокурый, с бледным лицом и красными заплаканными глазами.

В церкви тесно и душно, приторно, до головокружения пахнет топленным воском и ладаном. Уже отпел митрополит Симон заупокойную и теперь затих у аналая. Плачет, не скрывая слез, духовник Митрофан.

Василий протиснулся сквозь плотные ряды бояр, вышел на паперть. Площадь усеял люд. Государя окружили со всех сторон нищие и калеки, древние старцы и старухи. Грязные, в рубищах, сквозь которые проглядывало тело, они, постукивая костылями, ползком надвигались на Василия. Протягивая к нему руки, вопили и стонали:

– Осударь, насыть убогих!

– Спаси-и!

Хватали его за полы, но Василий шел, опираясь на посох, суровый, властный, не замечая никого, и люд затихал, расступался перед ним, давал дорогу.

Неожиданно из толпы выскочил юродивый, заросший, оборванный. Звеня веригами, запрыгал, тычет пальцем в великого князя, визжит:

– Горит, душа горит!

От юродивого зловонит. Василий хотел обойти его, но тот расставил руки, что крылья, не пускает, гнусавит:

– Крови отцовой напился! Карр... Карр...

У Василия глаза от гнева расширились, слова не вымолвит. Поднял посох, ударил наотмашь. Треснуло красное дерево, и, залившись кровью, упал юродивый. Народ заголосил вразноголос:

– Убивец!

– Лишил жизни божьего человека!

Подбежали оружные, государевы рынды¹, силой разогнали люд.

У боярина Версеня рот перекосило, заохал. Нагнулся к боярину Тверде, прошептал злобно:

– Плохо княжить почал Васька, дурной знак!

* * *

Ночь долгая, кажется, нет ей конца. Мается государь, ворочаясь с боку на бок.

Поднялся, походил из угла в угол, снова прилег. Потолок в опочивальне низкий, давит. Разбудил Василий отрока. Тот спал у самой двери на медвежьей полости.

– Оконце отвори!

¹ Рынды – телохранители.

Отрок взобрался по лесенке, толкнул свинцовую раму. Она подалась с трудом. В опочивальню хлынул холодный ветер. Государь вздохнул свободней.

– Не закрывай, пусть так до утра.

Отрок с лесенки да на шкуру – и засопел.

– Эко кому нет заботы, – вслух позавидовал Василий.

Снова думы навалились. Сколь их? Что на дереве листьев. И то, как властвовать, чтоб бояре, как при отце, место знали, в нем, Василии, государя чтили. Да как держаться с зятем Александром, великим князем Литовским. Доколь он русскими городами володеть будет? Коли б прибрать к рукам Мухаммед-Эмина казанского, тогда и с Литвой речь иная...

Василий вздремнул и тут же пробудился. Юродивый перед глазами предстал. Тот, что днем его в смерти отца уличал. Великий князь пробормотал в сердцах:

– Плетет пустое!

И про себя уже спокойнее подумал: «Такие люд смущают. Велеть, чтоб ябедники² тех, кто речи непотребные ведет, ловили – да в железо, дабы они народ не волновали...»

Одолела ярость.

«Никого не миловать, боярин ли то, холоп, всех казнить, чтоб не токмо делом, но и словом на меня, государя, не помыслили...»

* * *

Обедали в трапезной своей семьей. За длинным дубовым столом, уставленным яствами, сидели просторно. По правую руку от Василия Юрий и Семен, по левую – Соломония, жена Василия, строгая, не улыбкающая. С ней рядом Дмитрий, за ним Андрейка.

Ели молча, долго. Когда обед подходил к концу, Семен отодвинул миску с жареной бараниной, встал. Подняв тяжелый взгляд на Василия, сказал хрипло:

– Ты, брате, нам отныне заместо отца. И мы тя чтим, но и ты нас не забывай. Княжения наши невеликие и скудные. Дал бы ты нам еще городов. На щедрость твою и разум уповаем.

Затихли все, жевать перестали. Ждут ответа Василия. А тот не торопится. Вскинул брови, посмотрел то на одного брата, то на другого. Наконец заговорил:

– Брат Семен и вы, Юрий и Дмитрий, к тому, что выделено вам отцом нашим, покойным государем Иваном Васильевичем, добавить не могу, ибо государство крепко единством, а не вотчинами. Вы же не по миру пущены, и обиды ваши напрасны. Надобно нам сообща Русь крепить. А коль будем мы порознь, откуда силе взяться? – Зажал в кулаке бороду, откашлялся: – Мыслю я, братья, поход на Казань готовить. По весне пошлю полки на Мухаммед-Эмина. Отец наш Ахмата заворотил и тем самым дал понять Орде, что нет ее ига над Русью. Нам же Казанью владеть, ибо та Казань – ключ у Волги-реки...

Замолк, поднялся, дав знать, что большего не скажет.

Братья покинули трапезную. Проводив их взглядом, Соломония промолвила:

– Зачем зло на себя накликаешь, Василий! Да и с боярами гордыни не держи, совета их спрашивай, и будет тогда тишь да благодать.

– Не твоего ума дело, Соломония! – оборвал жену Василий. – О какой тиши речь ведешь? Уж не о той ли, когда Русь уделами терзалась да усобицами полнилась? Тому сейчас не быть, а в советах боярских не нуждаюсь. – И, повернувшись к жене спиной, добавил резко: – Тако же и в твоих!

² Ябедник – служитель, судебное должностное лицо.

* * *

Из трапезной братья перешли в просторную гридню. Массивные каменные колонны подпирали расписанный красками потолок. День к вечеру, и сквозь высоко проделанные полукруглые оконца тускло проникал свет. Князья остановились посреди гридни. Юрий сказал насмешливо:

– Воистину, Семен, глас твой вопиет в пустыне. Нет, не могу быть здесь боле, завтра же покину Москву.

И повел глазами по братьям.

Не заметили, как оружничий государя, боярин Лизута, находившийся в гридне, при Юрьевых словах затаился за колонной.

Князь Семен насупился. Дмитрий поморщился, сказал:

– Не суди, Юрий, Василия, не ищи раздоров.

Юрий оборвал злобно:

– Я раздоров не желаю, но и ты, Дмитрий, нас с Семеном не вини. Не иди в защиту Василия. Ты как, не ведаю, а мы в обиде. Един отец у нас с Василием, так отчего ему шесть на десять городов достались, а нам на всех три на десять?

Оружничий Лизута и дышать перестал, весь во внимании. Ладонь к уху приложил, напрягся.

А братья свое ведут:

– Верно рассказываешь, – поддакнул Семен.

– И я тако же, как и вы, братья, – по-иному заговорил Дмитрий, – к чему нападаете на меня? Мне бы только по-добру, без вражды, коль уж уселся Василий отцовской волей на великом княжении.

Заскрипели половицы. Оружничий оглянулся. К князьям подошла Соломония. Братья прекратили разговор. Семен сказал, обратившись к великой княгине:

– Злобствует на нас брат наш Василий, а почто, и сами не ведаем.

– На тя, сестра, надежда наша, замолви слово. Не лишку просим мы у него, а по нужде нашей, скудости.

У Соломонии взгляд холодный и ответ короткий:

– Сердцем рада, да нет моей власти над великим князем. Разве не чуете вы того? Не злите его понапрасну, Бог милостив, глядишь, отойдет сердцем великий князь – тогда и просьбу вашу исполнит.

И, поджав губы, вышла из гридни. Князья направились вслед за ней. Оружничий, вытерев рукавом вспотевший лоб, поспешил с доносом к великому князю.

* * *

Воротившись из трапезной, Соломония закрылась в молельной. Опустившись на колени, допоздна отбивала поклоны. Крестилась истово, шептала слова молитвы, и горячие слезы текли по ее щекам.

Нет покоя Соломонии. Была и у них с Василием любовь, а ныне исчезла, что туман поутру.

Знает Соломония, тому причина ее бесплодие. Она уж и на богомолье по монастырям ездила, и знахарок выпрашивала, а детей все нет. И остыла любовь, угасла.

Редко заходит Василий к Соломонии в опочивальню, ох как редко, остыл. Будто и не жена она ему вовсе.

Соломония устремляет свой взор на угол, густо уставленный иконами. Киоты в золоте, блекло горит лампада перед Спасом, строги глаза святых.

Опершись рукой о пол, Соломония поднялась. Хрустнули в коленях кости. Послунив пальцы, она поправила фитилек в лампаде, еще раз перекрестилась.

– О Господи, – просит княгиня. – Чем грешна яз³? Пошли мне счастья скудного, доли женской.

И, видно, не веря в исполнение своей просьбы, она печально качает головой:

– Нет, верно сказывают, сломанное дерево не срастить без следа.

Припомнила разговор, затеянный князьями в гридне. Забыв на время о своем горе, Соломония говорит вслух:

– И встанет брат на брата...

Пугается сказанного, озирается, крестится:

– Прости, Господи...

* * *

В думной палате в мерцании восковых свечей, горящих в медных подставцах, в одиночестве поджидает братьев великий князь Василий. Барабанит пальцами по подлокотникам, блуждает взглядом по стенам, увешанным оружием.

В этом кресле из черного дерева, отделанного дорогими камнями и золотом, восседали его, Василия, отец и дед, великие князья Московские. А вдоль стен, на лавках, бояре рассаживались, совет с великими князьями держали.

В последние годы отец, Иван Васильевич, редко созывал их, сам любил думать. Василий тоже не очень верит в боярский разум.

Сколь раз он наблюдал, сидят они в палате на лавках, иные дремлют, носы в высокие воротники уткнув, а кои от скуки рот кривят в зевоте. А то выпалит иной глупость и пучит глаза, вот-де и он совет подал...

Порог палаты переступил Дмитрий, следом за ним Семен с Юрием. Василий кивком указал на лавку:

– Садитесь!

Дождался, пока они уселись, и только тогда спросил, насмешливо прищутив глаза:

– Значит, Юрий, глас Семена вопиет в пустыне? Ась? Кажись, твои слова, не обманываюсь? Ты так, Юрий, сказывал? – И вперился взглядом в брата, насквозь пронизывает. – Меня не чтишь? Терпеть не можешь? Верно сказываю?

Побледнел Юрий, зад от лавки приподнял. А Василий уже до Семена добрался:

– И ты, Семене, завтра с Юрием отъезжаешь? – Не говорит государь, бьет братьев словами. Вздохнул. – Ох-хо-хо, зависть черная! Ну, бог с вами. Покликал я вас, чтоб сказать: надумали ехать без моей воли, поезжайте, перечить не стану. Но знайте, дам я вам своих бояр и дьяков, и быть им при вас моими очами и ушами. Вы же людям обид не чините, ибо за то в ответе будете.

А тебе, Дмитрий, – Василий повернулся к другому брату, – из Москвы не отъезжать, а по весне с воеводами Федором Вельским да Александром Ростовским Казань воевать идти! – Встал, властный, не терпящий возражений. Братья тоже поднялись. Василий продолжил: – От вас оправданий слышать не желаю. Дорогой отсюда свары не затевайте, гадаючи, откуда известно мне о вашем разговоре в гридне. На то и государь я, чтоб наперед читать мысли людские...

³ Яз – «я» в древнерусском языке.

* * *

Князья ушли, а Василий еще долго оставался в палате. Опустившись в кресло и склонив голову на ладонь, задумался, мысленно рассуждал сам с собой.

...Братья родные, но чем вы лучше тех бояр, какие не о единстве Руси пекутся, а рвут ее на уделы? Этим боярам давно не по нраву он, Василий, им бы на великом княжении лице-зреть такого князя, как племянник Дмитрий.

Дмитрий, сын покойного брата, родного Василию по отцу и неродного по матери, от первой отцовой жены.

Боярам-усобникам Дмитрий по душе, мягок и послушен, их умом бы жил.

Разве может он, Василий, запамätовать, как отец, озлившись на мать, сообщил на Боярской думе, что государем станет после него не Василий, а Дмитрий?

Сколь тогда натерпелся Василий обид! Ан время короткое минуло, и отец, помирившись с Софьей, снова стал милостив к Василию, а Дмитрия, уличив в измене, заточил в темницу. Там он и поныне. Боярам же отец так сказал: «Чи не волен яз, князь великий, в своих детях и в своем княжении? Кому хочу, тому дам его».

Сколь раз просили бояре Василия освободить Дмитрия. Они и Соломонию подбивали, чтоб слово за него замолвила. Но нет, к чему усобникам потакать. Освободи Дмитрия, и они духом воспрянут, сызнова козни почнут плести... Напрасны боярские надежды! Не дождутся они от него, Василия, милости.

Василий усмехнулся, покачал головой, произнес вслух:

– Мнят себя хитрецами, да хитрость их лыком вязана, а Соломония не признается, кто из бояр наущал ее, таит. Прознать бы!

Неожиданно легко вскочил, проходя сенями, бросил челядину:

– Подай корзно!

Безбородый отрок торопливо снял с колка подбитый горностаевым мехом плащ, накинул государю на плечи. Тот запахнулся, вышел на красное крыльцо.

Над Москвой уже сгустились сумерки. Сырой ветер дул с запада, задира л полу княжьего плаща.

Спустившись с крыльца, Василий, обойдя блестящую лужу, направился к пыточной избе. Низкая, рубленая из вековых бревен, она, пугая всех, стояла на самом отшибе княжьего двора. Полновластным хозяином в ней был дьяк Федор.

У самой избы Василий замедлил шаг. За дверью по-звериному взвыл человек и смолк.

«Признался ль?» – берясь за ручку двери, подумал Василий.

В день, когда несли на кладбище юродивого, какой-то мужичонка вздумал кричать:

– Василия не хотим великим князем. Антихристу он продан, како и мать его заморская! Нам Дмитрия великим князем подавай! Дмитрия Ивановича! Освободим страдальца, что муки за нас принимает!

Мужика схватили, в пыточную избу доставили.

Велел Василий дьяку дознаться, чей тот мужик холоп и кем подослан, какой боярин за ним стоит.

В избе жарко, едко чадит гарь. Подручный дьяка, в одних портках, без рубахи, собирал в кучу палки. В углу горел огонь. Тут же, посреди избы, валялись железные щипцы на длинных ручках, толстый ременный кнут. Пытаемый, раздетый донага, безжизненно висел у стены.

Василий подошел, посохом ткнул в бородатое лицо. Всмотрелся. Глаза закрыты. Спросил:

– Как, Федька, выведал аль нет?

При появлении в избе великого князя с лавки подхватился дьяк, маленький, колченогий, лицо морщенное, что гриб-сморчок, ответил скороговоркой:

– С собой тайну унес, государь!

– Плохо, Федька, старался, коль не прознал, чей он и кто наущал его. Не мог холоп сам того придумать. И забил ты его попусту, рано...

У двери пригнулся под притолокой, вдруг обернулся, блеснул настороженными глазами в дьяка:

– Ох, гляди, Федька, вдругорядь сам ответствовать мне на дыбе будешь. Чтой-то хитришь! – Поднял палец, погрозил: – Чую, хитришь!

* * *

Из Москвы разные дороги на Дмитров и Калугу, но князь Семен, хоть и не с руки, решил, однако, проводить брата Юрия. В Москве повсюду послухи, о чем бы ни говорил, в одночасье Василию становилось известно.

Братья едут стремя в стремя, далеко оторвались от сопровождавшего поезда. Растянулись конные дружины, боярские колымаги, телеги с харчами. Впереди обоз Юрия, позади – Семена.

У братьев разговор один, обидами на Василия делятся.

– За несколько ден устал боле, чем за годы в Дмитрове, – говорит Юрий, не скрывая радости отъезда из Москвы.

Семен поддакивает:

– Труден братец Василий, ох как труден! С высоты на нас глядит.

Юрий переложил повод из руки в руку.

– Мыслит править по-отцовому.

– Круто берет изначала, а то забывает, что отец только с новгородскими вольностями совладал, ему же псковские и рязанские оставил. Коли нас притеснять станет, мы в Литву, к князю Александру, дорогу знаем.

– На Казань собирается! Ха, – зло рассмеялся Юрий, – воитель сыскался. Мухаммед-Эмин укажет ему от ворот поворот.

Семен поддакнул:

– Как оциплют Ваську татарове, враз потишает, к нам с поклоном пожалует.

– Ныне Боярской думы гнушается, сам-треть все решает, а тогда не только нам, князьям, боярам в рот заглянет, к их советам прислушается.

– Есть и на Москве бояре, кои Василием недовольны, – снова сказал Юрий. – И Соломонию он притесняет.

– В бесплодстве ее винит, а не сам ли этим страдает? – залился мелким смешком Семен.

Оборвав смех, замолк надолго. Молчал и Юрий, посматривал по сторонам. Пожухла прихваченная ночными заморозками трава, высохла. Лес местами оголился, кое-где все еще желтел и краснел сохранившейся листвой. Небо низкое, затянутое тучами. Неуютно.

Прошедший накануне дождь размыл дорогу, и кони хлюпают по лужам.

Верстах в десяти за Москвой Семен остановил коня, сказал:

– Пора прощаться.

Юрий снял шапку, не слезая с седла, обнял брата.

– Так помни уговор, Семен, друг за дружку держаться, в обиду не даваться, а при нужде в помощи не отказывать.

Семен ответил:

– Воистину так, купно, – и, трижды поцеловав Юрия, свернул на Калужскую дорогу.

* * *

Темная, ночная Москва. Разноголосо перебrehивались собаки.

У ворот боярина Версень одетый в шубу и теплую шапку человек долго стучал в калитку. Надрывались спущенные с цепи лютые псы. Человек барабанил палкой по доскам что было мочи. Наконец щелкнул запор и открылось смотровое оконце. Воротный мужик подал недовольный голос:

– Кого там принесло?

Человек сердито прикрикнул:

– Заснул! Вот ужо пожалуюсь боярину, он те всыплет! Отворяй!

Мужик испугался, торопливо распахнул калитку, впустил ночного пришельца, пробурчал, оправдываясь:

– Не спал я, по нужде отлучался.

Человек уже успокоился, сказал тише:

– Веди к боярину, скажи, дьяк Федор к нему...

Боярин Версень ждать не заставил, сам спешил навстречу. Дьяк подковылял вплотную,дохнул луковым перегаром боярину в нос, хихикнул:

– Умер холоп. Что поведал перед смертью, мне одному ведомо. Даже подручный не слышал, ибо отлучался он на тот момент.

– Слава тебе, Господи! – отирая рукавом пот, облегченно вздохнул Версень. – Хоть и нет моей вины в холоповой дури, но великому князю как то вразумишь?

Дьяк снова мелко засмеялся:

– Ужо порадел я ради тебя, боярин...

Версень засуетился:

– Погоди, Федор, я сей часец.

Вскороги воротился, ткнул дьяку кожаный мешочек. Звякнуло серебро.

– Тебе, чтоб обиды не таил. За добро твое ко мне...

И самолично провел дьяка до ворот, подождал, пока мужик закроет за ним калитку. Плюнув вслед, пробурчал:

– Чтоб тебе подавиться теми рублями.

Поддернув сползшие портки, боярин отправился досыпать.

* * *

Государь еще плескался над тазиком, а оружничий Лизута, рыжий, сгорбившийся от хитрости и угодничества, уже нашептывал голосом тихим и вкрадчивым:

– Князь Юрий и Симеон сообщают из Москвы отъехали.

– Еще что знаешь? – недовольно прервал его Василий и, подняв голову, долго растирал лицо лняным утиральником. – О чем князья меж собой говорили, Лизута?

Оружничий растерялся.

– От послухов, осударь, Юрий и Симеон, оберегаясь, один на один речь вели.

– Знать тебе надобно, боярин. – Кинув полотенце оружничему, Василий натянул рубаху. – А еще вот о чем хочу сказать тебе, Лизута. За дьяком Федькой доглядывай.

Оружничий вздрогнул.

– Осударь Василий Иванович, как могу я? Дьяк Федор отцом твоим приставлен к пыточной избе!

– Перестань скулить, боярин. Сдается мне, юлит Федька, плутует. Нюхом чую! А что отец мой его поставил сыск вести, так, видно, тогда старался дьяк. Нынче заелся, служит мне, государю своему, с оглядкой на бояр.

– Опасаюсь я, осударь, Федьки. Жаден дьяк до крови. Как завижу колченогого, так мороз подирает.

– А ты не бойсь, боярин, – насмешливо прищурил один глаз Василий. – Коли правду будешь мне доносить, не дам тебя в обиду.

Оружничий еще больше изогнулся.

– Я ли не стараюсь, осударь. Иль сомнение какое ко мне держишь?

– Нет, веры еще не потерял в тебя, Лизута. И как доныне служил мне, так и наперед служи. О чем прознаешь, немедля я знать должен. Ну, добро, боярин, меня иные дела дожидаются.

* * *

Митрополичьи палаты в Кремле рядом с княжескими. Так повелось еще со времен Ивана Даниловича Калиты, когда митрополит Петр перенес митрополию из Владимира в Москву.

Ныне палаты митрополита подобны великокняжеским, не из бревен рубленные, а из камня сложены, как и Кремль, и церкви многие...

Тишина в митрополичьих палатах. Не терпит Симон суеты, ибо она удел человека от мира, но не слуги Божьего...

Время далеко перевалило за полдень, когда игумен Волоцкого монастыря Иосиф въехал в Москву. От заставы колымагу затрясло по бревенчатой мостовой, переваливало из стороны в сторону на ухабах. Откинув шторку, Иосиф с нетерпением дожидался конца утомительной дороги. Наконец ездовые остановили коней, и монах-служка помог настоятелю выбраться из колымаги.

Поправив клобук, Иосиф засеменил в палаты. Уведомленный о его приезде, навстречу спешил сам митрополит. Оба маленькие, худенькие, в черных монашеских рясах, они приблизились, обнялись, Симон прослезился, ладошкой вытер глазки.

– Давно, давно не приезжал ты, брат мой. Жажду видеть тя, ибо люблю разум твой и заботу о церкви нашей.

Взяв Иосифа под руку, Симон провел его в трапезную, усадил за столик, сам напротив уселся. Монах принес миску, полную меда, серебряные ложки, затем поставил глиняные чаши с горячим молоком и удалился, оставив митрополита с настоятелем наедине.

Симон потер ручки, переспросил:

– Что не приезжал долго, брат мой? Аль не жалуешь меня, аль в обиде за что?

– Ох, отец мой духовный, – прервал его Иосиф. – Видит Бог, сколь раз порывался яз к те, да все заботы. Обитель наша Волоцкая нападки терпит, – Иосиф вздохнул. – Сам ведаешь, отче, кто обидчик наш. – Подув на молоко, игумен, сделав маленький глоток, оставил чашу, снова заговорил: – Да коли б только на одну обитель напасти свои и козни строил Вассиан, а то на всю церковь православную. Устои ее пошатнуть задумал...

Иосиф замолчал надолго. Молчал и Симон. Смеркалось быстро. Давно уже выпито по второй чаше. Монах зажег свечи. Наконец Иосиф не выдержал:

– Проповедями своими непотребными Вассиан смуту вносит в церковь православную. Паству неразумную с пути праведного сбивает.

Симон согласно кивнул. Иосиф снова:

– Ереси подобно ученье его. Опасаюсь, опасаюсь, оскудеет церковь наша!

– Все в руке Божьей, брат мой. А что о церкви помыслы твои, то воздастся тебе сто-рицей.

– Отче мой духовный, властью своей митрополичьей уйми Вассиана, заставь смирить гордыню, что обуяла его. Не сыскалось на Соборе⁴ управы на Нила. Оттого и ученик его Вассиан неистовствует и главу свою высоко несет... Ко всему слышал яз, что задумал Вассиан из своей обители в Москву перебраться. Будто зван он самим великим князем Василием.

Митрополит поджал губы, кивнул. Иосиф продолжал запальчиво:

– К чему Вассиан на Москве? Отчего не сидится ему в Белозерском крае? Аль Сорский скит⁵ опостылел со смертью Нила? Либо мыслит, что великий князь в его советах нуждается? Ах ты, Господи! Но великому князю не знать ли, что не Вассиан, а яз, грешный, назвал Московского князя всея Русской земли государям государь.

Симон поднял руку. Широкий рукав рясы опал до локтя.

– Смирися, брат мой!

Иосиф, не поднимаясь, склонил голову.

Симон прикрыл глазки, почмокал губами.

– Трудно сие, ибо не посягает Вассиан на каноны и в ереси его не уличишь. Насилья он не вершит над монастырями и скитами. И иных тягчайших грехов не сотворяет. А что взывает к бедности церковной, так за то какое ему наказание? Умен Вассиан и рода древнего боярского. Тронь Вассиана, бояре взропсут. Им, боярам, ученье Вассиана по душе, чать нестяжатели не на их землю, а на церковную замахиваются...

Иосиф взял со столика чашу, прихлебнул, снова поставил.

– От Вассиана всяко жди. Седни он на добро церковное замахнулся, завтра на Бога взъярится. Люди его Антихристу преданы, и кто ведает, не задумают ли они обратить в пепелище монастыри да скиты?

Митрополит испуганно отшатнулся, долго и пристально смотрел своими выцветшими от времени глазками на настоятеля и только потом проронил:

– То ереси подобно! Но рассуди сам, брат мой, зачем Вассиану звать к ней?

Иосиф пожевал губами, ответил таинственно:

– Как знать, отче. Нынче не могу яз поведать те, но слыхом живу. – И поднялся. – Утомил яз ты, отче мой. – Отвесив низкий поклон, промолвил: – Прости мне прегрешения мои.

Симон поднялся, двуперстным крестом осенил игумена.

Сказал голосом усталым, тихим:

– Аминь!

* * *

Нет у государя веры дьяку Федору. Кривит дьяк, знает, чей холоп против него люд подбивал, а как его уличить?

Не раз Василий допрос сымал с дьяка, страшал его, тот на своем стоит: «Не ведаю, не открылся смерд...»

Вот и нынче ворочается государь из пыточной избы. Сходил понапрасну, дьяк Федор на кресте клянется, что истину говорит.

⁴ Церковный собор 1503 года, на котором большинство выступило против Нила Сорского, основателя учения, согласно которому монастырям запрещалось иметь землю. Отсюда последователей Нила Сорского стали именовать «нестяжателями».

⁵ Сорский скит за Волгою, на реке Соре, в Белозерском крае. Основан монахом Кирилло-Белозерского монастыря Нилом, происходившим из дьяческой семьи Майковых. Он первым начал требовать отказа монастырей на владение землей.

Идет Василий, голову опустил, свое в уме перебирает, валеными катанками первый пушистый снег подминает. Мороз легкий, шуба у государя нараспашку, бархатная шапка, отороченная соболем, низко на лоб надвинута. Челядь и бояре встречные поклоны отвешивают, но Василий никого не замечает. У церкви Успения лицом к лицу столкнулся с митрополитом. Остановился, проговорил себе только понятное:

– Дознаюсь!

У Симона седые брови приподнялись недоуменно. Спросил:

– О чем глаголешь, сыне, и от чего волнение твое?

– Аль не догадываешься, отче? – насмешливо прищурился Василий.

– Как могу яз знать, сыне, что думаешь ты? Господу дано сие, – Симон возвел к небу очи. – Яз же суть смертен. – И тут же сказал: – Слышал яз, грешный, что Вассиан в Москву зван тобой?

Василий гневно пристукнул посохом, ответил запальчиво:

– Иосифа слова пересказываешь, отче. Доносили мне, что был у тебя наместни волоцкий инок. Что надобно ему? Я ль не вашу сторону держу? Либо на землю монастырскую покушаюсь? Хоть то мне и боярам на руку, служилому люду наделы надобны. Не у бояр же землю брать? Но и вас, церковников, знаю, тронь, посягни на богатство ваше, кто народ в послушании наставлять будет? Оттого и Вассианова ученья не принимаю. Путаник он и его заволжские старцы⁶. Его же на Москве пожелал зреть, дабы Иосиф и иже с ним не мнили себя выше великого князя, государя своего. Помню, как, назвав меня государям государь, оный Иосиф изрек и иное. Яз-де, государь, покуда у церкви в смирении. И яз пониже митрополита. Нет, – Василий погрозил пальцем, – власть моя от Бога, и перед ним одним я в ответе!

– Что глаголешь ты, сыне! – Симон прикрыл глаза, покачал сокрушенно головой. – То не твои слова, сыне. Избави ты от лукавого. Господь и церковь – суть одно! Как можешь ты делить их? Одумайся! Церковь Богом дана, сыне.

Бочком обойдя Василия, митрополит не спеша поднялся по ступенькам паперти.

– Вассиана, однако, не ворочу, пусть живет на Москве!

⁶ *Заволжскими старцами* именовали Нила Сорского и его последователей, так как их обитель находилась за Волгою, на реке Соре.

Глава 2

Что за город Москва?

Сергуня бежит из скита. Вот она, Москва! На Пушкарном дворе. Боярские обиды

В ту же зиму случилось над Москвой и над всей землей Русской небесное знамение, просияло оно в ночном небе, рассыпало звезды. В страхе великом пребывал люд.

Увидел это инок Вассиан, сказал:

– Неспроста, неспроста грозит нам Господь! Иосиф и иже с ним, кои стяжательством обуяны, к чему копят все? Не Богу, злату поклоняются!

А настоятель монастыря Волоцкого игумен Иосиф в тот час иное изрек:

– Се нам за ересь Вассиана! Нарекши себя нестяжателем, он вкупе со старцами заволожскими противу добра монастырского восстал, а то равно на Божью руку поднять!

Те слова подхватили сподвижники Иосифа, и докатились они ранней весной до дальнего скита старца Серапиона.

* * *

Сергуня бежал, куда несли ноги. Тугие ветки хлестали тело, больно царапали лицо, сучья изорвали порты и рубаху, но Сергуня не замечал этого. На поросшей первой травой поляне он остановился, тяжело перевел дух. Тихо, так тихо, словно замер лес. Лег Сергуня на прохладную землю, задумался. Мысли плутали заячьим следом. С чего вся жизнь у Сергуни пошла наперекося? Отчего старец Серапион сотворил такое зло? Не он ли о добре проповедал говорил, поучал смирению и послушанию?

Уж не с того ль самого дня все началось, как объявился в их ските незнакомый монах? Пробыл он одну ночь, но Сергуня запомнил его. Никто в ските не знал имени монаха, откуда и зачем пришел к ним, разве одному Серапиону известно было.

Уединившись, Серапион и монах о чем-то долго шептались, после чего, поужинав и переспав, монах исчез.

Миновал март-березозол, на апрель-пролетник потянуло. В ските жизнь катилась своим чередом. Посеяли мужики рожь-ярицу. Вскорости пробились молодые стрелки. А после первого теплого дождя налилось, зазеленело поле. Лес оделся в листву, ожил.

Давно забыли в ските о странном монахе, но сегодня поутру позвал Серапион баб и мужиков в молельню на проповедь. Обо всем обсказывал старец, а боле всего ругал инок Вассиана, уличал в ереси. От Серапионовых слов тот Вассиан виделся Сергуне рогатым, со звериной мордой.

Длинная речь утомила Сергуню. Припомнив, что с вечера не успел проверить силки, он незаметно шмыгнул в приоткрытую дверь. Постояв самую малость и подышав свежим воздухом – в молельне дух тяжелый, стены без оконцев, – Сергуня направился в лес. Ходил ни мало ни много, а когда воротился в скит, издали увидел огонь над молельней, а у подпертой колом двери стоит старец Серапион. Волос взлохмаченный, глаза безумные. Из молельни крики доносятся. Кинулся Сергуня к двери, но Серапион налетел на него, подмял, к горлу добирался.

С треском, разбрасывая искры, рухнула крыша – и смолкли крики.

Цепкими пальцами душит Серапион Сергуню, обдает дыханием: «Нельзя тебе жить...»

Сергуня ростом хоть и невелик, а крепок. Изловчился, ударил Серапиона коленом в пах и, вскочив, побежал прочь из скита. Один раз только и успел оглянуться. Увидел, не преследует его старец.

Лежит Сергуня, глаза в небо уставил. До сих пор не поймет, что случилось со старцем, зачем людей сжег и почему на него, Сергуню, накинута.

Отлежался Сергуня, с трудом приходил в себя. Потом поднялся, нашел родник, напился и, прикинув по солнцу дорогу, зашагал широко. Решил в Москву податься. Отца и матери у Сергуни нет, в моровой год умерли. А о Москве слышал он, есть такой город. Как-нибудь проживет...

* * *

Заплутал Сергуня, сбился с пути. Хотел на дорогу к Москве выйти, а очутился совсем в иной стороне.

Пока из лесу выбирался и на первое село набрел, едва сил не лишился. Народ поначалу не верил Сергуне. Экие страхи рассказывает парень. Тронулся умом, вот и плетет. Однако котомку харчей навязали, вывели на дорогу.

Пошел Сергуня бойко, в селе передохнул, отьелся. Вдоль дороги по ту и другую руку лес стеной: дуб, сосна, березы и осины семьями. Утром пролил грозовой дождь, промыл листья на деревьях, траву, а к полудню небо очистилось, выгрело солнце. На весь лес заливаются птицы, поют одна лучше другой.

Приподнял Сергуня голову, белые волосы, что лен со лба откинул, послушал. Вот звонко кричит иволга, свистит синица, барабанит по сухостою дятел.

Улыбнулся Сергуня, поправил сползшую с плеча котомку, прибавил шаг. Что ни день, то дальше уходит он от скита, меньше в душе страха, реже вспоминает случившееся. Как-то, время к обеду, присел на пенек, развязал котомку, достал лепешку, луковицу. Засохшую ржаную лепешку разломил пополам, вторую половинку на завтра приберег, принялся есть. Хотелось щей и каши, прикрыл глаза, а перед ним миска глиняная. От наваристых щей пар курится. Сглотнул слюну, глаза открыл. Прислонился к дереву, задремал. Во сне Серапиона увидел. В страхе пробудился. Потом холодным прошибло.

Издали донесся гомон, скрип колес. Встрепенулся Сергуня, котомку подхватил, бегом на дорогу. Из-за поворота показался воз, за ним другой, третий. Тяжело идут кони. Догадался Сергуня – телеги, солью груженные. Мужик с переднего воза окликнул:

– Чей будешь, отрок, куда идешь?

Мужики с задних возов сошлись, идут рядом, ждут ответа. А Сергуня положил руку на рогозовый мешок, идет рядом с возом, рассказывает.

Мужики ему верят и не верят. Один из них, ростом маленький, лицо оспой исковыряно, перебил насмешливо:

– Горазд врать!

Обида взяла Сергуню, замолк. Другой мужик похлопал его по плечу, сказал по-доброму:

– Садись, отрок, на воз да передохни.

К вечеру приехали в монастырь. Выпрягли мужики коней, костры разложили, ко сну начали готовиться. Сергуня по монастырю бродить отправился. Монастырь невелик. Церквушка одношатровая, деревянная, кельи тесные, темные, клетки тут же поблизости для добра монастырского. Ограда вокруг монастыря из тесаных кольев, добротная и ворота высокие.

Воротился Сергуня к обозу, увидел, сидят мужики у костра и из котла поочередно поддевают деревянными ложками кашу. Рядом с ними кто-то четвертый примостился. Подошел

отрок поближе и вдруг, заслышав голос, остановился в испуге. Узнал по голосу старца Серапиона. И рассказывал он о пожаре в ските.

Маленький рябой мужик перебил Серапиона:

– Вот вишь, ты, старец, рассказываешь, что молельню Вассиановы люди сожгли, а тебе чудом удалось спастись. Мы же иное слышали. Дорогой подобрали мы парня, так, с его слов, скит сжег старец. Уж не ты ли? Кому из вас верить?

– А куда отрок подевался? – вспомнил о Сергуне другой мужик. – Надобно ему каши оставить.

Но Сергуне уже не до еды. Попятился он, за деревом укрылся. Постоял маленько, затем осторожно, чтоб не заметили, выбрался за монастырские ворота и, не став дожидаться конца ночи, поспешил уйти подальше от монастыря.

* * *

Под Москвой чаще попадались села и деревни, стала многолюдней дорога.

Довелось Сергуне заночевать в одном селе. Зарылся в стоге прошлогоднего сена, угрелся. Ко всему ночь теплая. Сено пахнет травами и прелью.

Утром вылез из стога, осмотрелся. Видит, село большое, домов десятка полтора. Хоромы боярские обнесены тыном, избы смердов по обе стороны боярской вотчины, за селом пашня.

Заглянул Сергуня на боярское подворье: клетки, конюшни, скотный двор, обилье. У самого крыльца хором отрок с ноги на ногу переминается. Парень Сергуню на голову перерос, а волос такой же белый, только кудрями вьется. Посмотрел он на Сергуню и спрашивает насмешливо:

– И откуда ты такой выискался, ушастый?

Сергуня засопел обиженно, а парень уже миролюбиво говорит:

– Доведись тиуну на тебя наскочить, он бы тебе за сено по шее наkostenял, а то, чего доброго, и плетей испробовал. Не поглядел бы, что ты не его боярина холоп.

– А ты откуда узнал, что я на сене ночевал? – удивился Сергуня.

– По голове сужу. Отряхнись.

Сергуня провел пятерней по волосам, спросил:

– Ты чего пнем стоишь?

– На правее же я, тиуном поставлен. Вчерашнего дня приехала Аграфена, моего боярина дочь, и уговорила: уведи да уведи ей коня тайком. Я и согласился. Конь с норовом, скинул ее в кусты. Аграфена сарафан изорвала и сама испаралась. Вот тиун за то и наказал меня, хоть Аграфена и заступалась.

– Лют тиун?

– Еще как! Боярину нашему Версеню под стать. Боярин на Москве, а тиун Демьян в селе... Тебя как звать?

– Сергуня.

– А я Степанка. Идешь куда?

– В Москву.

– Возьми и меня с собой, вдвоем удачи пытаться будем. Что мне здесь? Нет у меня ни отца, ни матери. Один я.

– Коли такое желание, пойдем, – обрадовался Сергуня. – Чать, вдвоем веселей.

– Ты только, Сергуня, обожди меня вон там, у опушки.

А я, как солнце закатится, к тебе явлюсь.

* * *

Аграфене нет и четырнадцати, но собой она видная, не в отца, нескладного, долговязого. Всем взяла боярышня, и телом, и лицом. Брови у нее стрелами вразлет, ресницы пушистые, глаза черные озорные.

У Аграфены характер своенравный. То она важная, не подступись, а то вдруг словно бес в нее вселится, уйдет с дворовыми отроками на омутные места за кувшинками либо еще чего затеет. И тогда нет с ней сладу. Не всяк из отроков одолевает ее в борьбе, вот разве что Степанка. Из всех мальчишек выделяла его Аграфена за силу и ловкость. А может, и за то, что красив Степанка лицом...

Боярин-батюшка Аграфену за озорство и в горенку запирает, и поучал, да все не впрок. Вот и нынче, не успела в село приехать, как с коня свалилась.

Теперь сидит Аграфена у открытого оконца, мечтает. На ссадины дворовые девки листья подорожника наложили, а сарафан мастерицы в переделку взяли.

Сгустились сумерки, и в горенке стемнело. Не заметила Аграфена, как Степанка, таясь, к оконцу пробрался.

– Аграфена, я это.

– Чего тебе? – высунула голову Аграфена.

Степанка не ответил, замер. Поблизости раздался голос тиуна Демьяна. Аграфена сказала шепотом, и в глазах ее блеснули смешинки:

– А не осерчал? Из-за меня наказали?

– Я на тебя не в обиде, хоть и наказывают без справедливости, – ответил Степанка. – Да и не впервой, привык уж. – Потянулся к оконцу, сказал, чуть помедлив: – Пришел проститься. Насовсем ухожу из села.

Аграфена брови подняла, спросила удивленно:

– Куда собрался?

– Сам еще не ведаю. Может, в Москву, а может, на окраину, в казаки...

– А я как, Степанка?

– А что тебе? У тебя отец боярин.

– Эх, Степанка, а я мыслила, друг ты мне, – укорила Аграфена.

Степанка виновато возразил:

– К чему говоришь такое. Я тебе друг, сама ведаешь. Да только жизнь у меня здесь постылая. Тиун аки зверь, родства нет никакого. А ты же сюда в редкие дни наезжаешь, все больше на Москве.

– Ну и уходи, – надула губы Аграфена.

– Не держи на меня обиду, – сказал Степанка, – дай час, буду я именитым, тогда ворочусь к тебе.

Аграфена хихикнула.

– Ты? Аль боярин ты? Вот уж не знавала, чтоб смерд да именитым стал...

Но Степанка не расслышал последних слов. Незаметно перебежал через двор, вышел за ворота.

* * *

У Сергуни шея заболела, вертит головой туда-сюда. Любопытно ему, что за город Москва.

А город и впрямь дивный. В цветенье садов, наливе распутившейся сирени, умытый утренней росой, в тихом пробуждении.

Прочно, как богатырь, стоит он на слиянии рек Москвы и Неглинной. Крепость – Кремль со времен князя Дмитрия Донского в камень взят. Земляной город, Белый, Китай-город...

Посады мастеровых: тут тебе горшечники, кожевники, плотники, кузнецы и иной ремесленный люд. Живут тын к тыну, изба к избе, тес да солома. В частые пожары огню раздолье.

Островами боярские дворы с амбарами да клетями, с хоромами рублеными и каменными, просторные, светлые, в игре позлащенных крыш, переливе стекольчатых оконцев.

Боярские заборы высокие, крепкие. Церквей в Москве множество, да одна больше другой: какие из кирпича сложены, какие деревянные.

Утро раннее, а народу на улицах полно. Сергуня за всю дорогу от скита до Москвы не встречал столько.

Степанка над товарищем потешается:

– Ты, Сергуня, коли глазеешь, так рот закрывай, а то невзначай воробей залетит.

Сергуня на друга за шутку не в обиде. Тому не впервой бывать в Москве, все это раньше повидал.

Привел Степанка Сергуню к подворью боярина Версеня.

– Гляди-кось, моего боярина палаты.

У распахнутых настежь ворот зевал до ломоты в скулах караульный мужичок, рыжий, в лаптях и длинной посконной рубахе навывпуск.

Дождавшись, когда караульный отлучится, Степанка с Сергуней прошмыгнули во двор и напрямик к поварне. От дверей дух дурманивший и пар валит. Пахнет щами сытными да хлебом свежим, печеным. В животах у Сергуни и Степанки от голода урчит, слюна к горлу подкатывается. Увидела их стряпуха, сжалилась, вынесла полпирога с капустой, ткнула:

– Берите да убирайтесь, а то приметит боярин либо тиун, быть худу...

Затаившись, Сергуня со Степанкой следят, когда караульный зазевается. А он стоит, руки в боки, посреди ворот, смотрит на народ, что движется по улице, и совсем не собирается никуда отлучаться. Сергуня со Степанкой давно уж и пирог съели, пить захотелось.

– А давай попытаем, – предложил Сергуня, – ты обегай воротного с одного бока, а я с другого.

Степанка согласно кивнул. И они враз припустились стрелой мимо караульного. Тот и охнуть не успел, растерялся, а отроки уже на улице. Впопыхах Степанка налетел на встречного боярина. Тот замахнулся посохом:

– Ужо я тебе!

С ужасом узнал Степанка боярина Версеня, отца Аграфены.

Боярин завопил воротному:

– Де-ержи!

Но Степанка зайцем пронесся вдоль улицы, запетлял по переулкам. Сергуня едва за ним поспевает.

Бежали долго. Уже давно отстал от них воротный мужик и стихли крики погони. Степанка с Сергуней остановились, перевели дух.

– Узрел мово боярина? – запыхавшись, спросил Степанка.

– Видал. Норова строгого.

– А Аграфена не в отца, – сказал Степанка.

– Бывает, – согласился Сергуня.

Переговариваясь, подошли к Кремлю. Остановились невдалеке. На белокаменном фундаменте могуче высятся зубчатые стены и башни. Сверху грозно смотрят зевы кремлевских пушек, и вся крепость, как на острове, лепится боками к рекам Москве и Неглинной, а со

стороны площади, называемой Красной, широкий водяной ров. В Кремль входы через мосты и башни проездные, а в тех башнях ворота на ночь закрываются железными решетками.

– Ух ты, – восхищенно проговорил Сергуня. – Силища-то!

Минуя стражу, отроки робко вступили в Кремль. Кругом площадь, камнем мощенная, церкви одна краше другой, кирпичные. Великокняжеские да митрополичьи хоромы тоже из камня, снаружи разделаны узорчато.

– Видать, изнутри золотом изукрашены, – сказал Степанка. – Пошли ужо, а то очи лопнут.

Выйдя из Кремля, узким мостком перешли на левый берег Неглинной. Издалека разглядели за дощатым забором, что начинается от самой реки, бревенчатую плотину. На ней ворота для спуска воды, а посредине плотины труба, и по ней вода с силой падает на колесо, вертит его. За забором грохот и стук необычный, пахнет гарью, едким дымом.

Сергуня выискал в заборе щель, припал глазом. Двор огромный, весь в застройках. Бревенчатые избы длинные, без оконцев, навесы. Работного люда множество, да все чумазые, опоясанные кожаными фартуками. Больше ничего не разберет Сергуня.

– Пушкарный двор это, – пояснил Степанка. – Единожды довелось побывать мне здесь. Присылал меня тиун с угольным обозом.

– Поглядим? – предложил Сергуня.

– Можно, – согласился Степанка. – Там за углом въездные ворота.

Они обогнули изгородь, остановились у распахнутых ворот. Княжий ратник в доспехах покосился на них, проворчал себе что-то под нос, но отроков не прогнал.

У самых ворот караульная изба, широкая, просторная, верно, много ратников охраняют Пушкарный двор. Напротив нее вытянулись в ряд кузни. Там ухали молоты, звенело железо. Дальше за кузнями чернели амбары. Посреди двора каменные печи, широкие, углестые, ростом хоть и невеликие, а, видать, для пушкарного дела важные. Уж больно много вокруг них народу. Печи, что живые, дышат: фу-фу!

От амбара к кузницам деревянные накаты. Два мастеровых протащили в кузницу железную чушку.

Ратнику отроки надоели, прикрикнул:

– Поглядели, и неча, шагайте своим путем.

Сергуня со Степанкой попятились, но тут у ворот появился мастеровой – высокий, плечистый, весь в саже, седой волос ремешком перехвачен. Почесал кудрявую бороду, спросил серьезно:

– Никак мастеровому делу обучиться желаете, ребята? Вижу, любопытствуете. Коли хотите, Пушкарный двор покажу. Меня Богданом кличут, мастер я.

И повел Степанку с Сергуней мимо кузниц к печам.

В рыжем полудне топот Пушкарный двор. Удушье чада и гари, звон металла...

Жарко парит.

Мастер Богдан на ходу рассказывает:

– То, робята, печи плавильные для меди, а сопят, слышите, мехи. Их вода качает. А вон в том амбаре, где грохает люто водяной молот, там крицы железные проковывают.

Омывается Сергуня липким потом. Увидел замшелую бадейку, припал потрескавшимся губами. Вода теплая и безвкусная. Живот раздуло, а пить охота.

Сергуня на ходу в одну из кузниц заглянул. Мастеровые, без рубах, в нагрудных кожаных фартуках, били железными молотами по лежавшему на наковальне раскаленному железу. Оно плющилось, рассыпало искры.

– А сейчас я вам покажу, как пушки лютят, – сказал Богдан.

Сравнявшись с крайней печью, Богдан окликнул облысевшего, со впалой грудью мастерового:

– Еще не готова медь?

– Пускать начинаем, – ответил тот и поднял молоток.

Два подсобника мигом подхватили железный ковш, подставили к каменному желобу.

– Айдайте поближе, – подтолкнул отроков Богдан.

От печей нестерпимо полыхало жаром, перехватывало дыхание.

– Поостерегись, – предупредил лысый мастеровой и ударил ловко по обмазанному глиной каменному чеку, и по желобу потекла в ковш огненная жижа.

– Мастер сей, робята, по имени Антип, искусный умелец. Медь с оловом варить и известью продуть мудрено. Что к чему, знать надобно и время угадать, чтоб не переварить либо недоварить, – пояснил Богдан. – Сие же варево бронзой зовется... Ну, повидали, теперь поспешаем, а то эти молодцы с ковшом нас опередят. Сейчас лить пушку начнем.

Вслед за Богданом Сергуня со Степанкой вошли под загороженный с трех сторон навес. Несколько работников перемешивали лопатами гору земли с песком. Богдан нагнулся, взял горсть, поднес близко к глазам, довольно хмыкнул, потом заговорил, обращаясь не то к Сергуне со Степанкой, не то к рабочим:

– В пушечном деле литейный мастер – первейший человек. Пушку лить не всяк горазд, и пушка пушке – рознь. Иной сольет ее, канал вкось либо того хуже. И время пропало, и металлу перевод – и секут потом мастера до смертоубийства. Вот они, – Богдан указал пальцем на работников, – вроде чего там, знай перелопачивай. Ин нет, надобно, чтоб опока не рыхла была и не ноздревата. Ко всему не слаба да воздух вбирала. Тогда пушка крепка будет.

Тут к ним подошел мастер, годами не старше Степанки и Сергуни, но с виду что молодой гриб-боровик. Богдан сказал:

– Вот, Игнаша, товарищей тебе привел. В обиду их не давай. – И, поворотившись к отрокам, добавил с гордостью: – Сын мой, Игнатий! Скоро сам пушки лить начнет.

Игнаша подморгнул Сергуне, подал им со Степанкой поочередно руку, проговорил баском:

– Работы на всех хватит, – и улыбнулся добродушно.

– Вона металл подоспел, – увидев подмастерьев с ковшом, сказал Богдан. – Нам за дело браться. Почнем с Богом, робятушки. – И перекрестился.

Подмастерья медленно и осторожно наклонили ковш. Обтекая сердечник, расплавленная жижа полилась в зарытую стоймя форму.

– А пушка како стреляет? – робко спросил Степанка.

Вместо Богдана ответил Игнаша:

– Поглядишь. Вот приедут из княжьего наряда пушки забирать, зачнут бой опробовать, тогда и любуйся.

– Ядра тоже здесь лютят? – задал вопрос Сергуня.

– В той стороне двора, – указал Игнаша. – Там в малых домницах железо варят. Пороховое же зелье не на нашем дворе, а на пороховых мельницах, и у них мастера иные.

– Ну как, есть желание нашему ремеслу обучиться? – усмехнулся Богдан.

– Есть, – ответил Сергуня.

– В таком разе обучу и слово за вас перед боярином, что ведает Пушкарным двором, замолвлю.

* * *

Боярин Версень не в духе. Намедни великий князь при встрече принародно попрекнул. А тут еще на собственном подворье беглый холоп чуть с ног не сшиб. Да был бы холоп, как холоп, а то так себе, отрок безусый. Изловить и высечь, чтоб кожа на спине чернью

изукрасилась, вдругорядь уважение поймее к боярскому званию. Ан и другим не повадно будет...

Учинив допрос дворне, Версень велел побить батогами караульного и стряпуху, дабы впредь не привечали беглых смердов.

Караульный мужик боярину в ноги упал, расплакался. Не виновен-де, недоглядел, как Степанка во двор забрался. Версень воротнему поверил и приговорил добавить десять батогов, промолвив при этом: «Чтоб наперед караул зорче нес. А то этак и татя в хоромы пустишь».

Отвернувшись от мужика, сказал собравшейся челяди:

– Кто Степанку сыщет, меня немедля уведомить.

Челядь разошлась, а Версень, взойдя на крыльцо, долго стоял, прислушивался, как из конюшни неслись слезные крики, свист батогов. Потом не торопясь, худой и высокий, что жердь, важно прошагал в хоромы. Следом за боярином – тиун. Проходя темными сенями, Версень, не поворачивая головы, проговорил:

– Наряди возок за Аграфеной, пора ей в Москву ворочаться. Да Демьяшке передай, тиуном он на селе сидит, так пусть за смердами доглядает. А за Степанку с него спрос.

В просторной, освещенной тремя оконцами горнице боярин снял с помощью тиуна кафтан, плюхнулся на лавку. Вытянув ноги, кинул коротко:

– Сыми!

Тиун стащил с Версеня сапоги. Боярин пошевелил босыми пальцами ног, вздохнул облегченно:

– Парко.

Вспомнил сегодняшнюю встречу с великим князем Василием. Подумал: «Васька-то всю власть на Руси на себя принял, а братья его, князья и бояре молчат, государем кличут».

Вслух проговорил:

– Осударь, хе-хе!

Спохватившись, увидел все еще стоявшего на коленях тиуна. Прикрикнул:

– Почто торчишь, убирайся!

Тиуна из горницы словно ветром выдуло. Версень пожалел сам себя: живет который год без жены, неустроен. Почесал поясницу, вымолвил:

– Жениться б надобно, да кто Аграфене покойницу мать заменит?

При воспоминании о дочери потеплело на душе.

«На мать похожая, только степенство не то, все козой прыгает. Ин не беда, замуж выйдет, детишек нарожает – переменится», – решил Версень.

Во дворе нудно завыл пес. Боярин поморщился, кликнул челядина. Тот вбежал мигом.

– Уйми пса.

Челядин крутнулся, но Версень остановил его:

– Погоди, попервоначалу помоги облачиться, боярина Твердю проведать хочу.

* * *

Боярина Твердю сон сморил. Лег с полудня передохнуть да и захрапел. На все хоромы слышать, как боярин спит.

Боярыня Степанида на дворню гусыней шикает, а ну кто ненароком разбудит боярина. Ставки в опочивальне велела прикрыть, разговаривать шепотом.

На пухлой перине да под теплым лебяжьим одеялом Твердя потом изошел, исподнюю рубаху хоть выжми, разомлел.

Пробудился под вечер, взлохмаченную голову оторвал от подушки. Сквозь щель в ставне блеклый свет пробивается, за плотно закрытой дверью бубнят голоса. Один Степанидин, другой мужской, сипит, ровно в сопилку дудит.

Твердя продрал глаза, сам себя спросил вслух:

– И кого там принесло?

Окликнул громко:

– Степанида!

Жена услышала, дверь нараспашку, колобком в опочивальню вкатилась. Следом за ней, пригнувшись под притолокой, вошел Версень.

Откинув одеяло, Твердя уселся, свесив ноги с кровати.

– Обиду тебе принес, Родивон, – проговорил Версень. – На глумление звание мое боярское выставлено.

– Кем обижен, боярин Иван?

На рыхлом лице Тверди любопытство.

– На великого князя Василия обиды. Намедни из храма вышел и, по Кремлю идучи, повстречался с ним. Он при всем народе и скажи: «Почто слухи обо мне нелепые пускаешь, Ивашка, сын Никитин? Либо забыл, осударь я всея Руси!»

Боярин Твердя разодрал пятерней бороду, сказал, сокрушаясь:

– Со времени великого князя Ивана Васильевича так повелось: Иван Васильевич, а ныне сын его Василий величают себя государями. С нами, князьями и боярами, не считается, совет не держит. Да только ль с нами, у него и братцы единоутробные не в чести.

Версень просипел:

– А все оттого, боярин Родивон, что покойный Иван Васильевич Ваське завещал всю землю, а другим сынам, Семену да Димитрию с Юрием, кукиш показал.

– У Василья сила, – согласно кивнул Твердя.

Боярыня Степанида всплеснула пухлыми ручонками:

– Да мыслимо ли бояр бесчестить? И при силе-то не моги. Боярин – голова всему!

Брызгая слюной, Версень перебил Степаниду:

– Ино Васька запамятовал, что нами, боярами да князьями, Русь красна! Аль мыслит без нашего совета обо всем удумать? На-кось! – И свернул кукиш.

Твердя прошлепал босыми ногами по выскобленным добела половицам.

– Не лайсь, Иван Микитич, что Богом уготовано, тому и быть. Оттрапезнуем-ко?

* * *

Проводив Версенья, Твердя еще долго не поднимался из-за стола. Боярыня Степанида ела медленно, обсасывая куриное крылышко, косилась на мужа, сокрушаясь в душе. Не тот стал боярин – и располнел, и бороду посеребрило. А рассеян – не доведи бог, и в голове какие-то думки...

Надкусив пирог, Твердя прожевал нехотя, подпер щеку.

«А великий князь Василий и впрямь к нам, боярам, высокомерен и дерзок. – Твердя вздохнул, откинулся к стене – Аль у Василья материнская кровь заговорила? Софья-то императорам византийским сестрой доводилась, так Василий, верно, тоже мнит себя императором. Да Русь – не Византия и Москва – не Царьград. Здесь мы, бояре, оплот всему. Цари византийские доумничались, пока царства лишились. Коли б они со своими боярами совет держали, может, и не пришли на их землю турки...»

Кряхтя вылез из-за стола, обронил:

– Я, Степанида, голубей попугаю, разомну кости. – И по-восточному широкоскулое лицо его оживилось.

– Сходи, Родивонушка, сходи. Умаялся, поди. Вон каки печали у тя...
Во дворе Твердя крикнул первому встречному отроку:
– Спугивай!

Тот мигом вскарабкался по лесенке на голубятню, открыл дверцу, засвистел. Стая, шелестя крыльями, поднялась к небу. Боярин схватил шест с тряпицей, закрутил над головой, зашумел. Потом откинул палку, задрал голову, долго смотрел, как птицы описывают круг за кругом, кувыркаются.

Дотемна проторчал боярин на голубятне, а когда воротился в хоромы веселый, боярыня Степанида облегченно вздохнула: «Потешился – и заботы с плеч. А то появился Версень, нагнал тоски. Экий!»

Глава 3

Казанская неудача

Боярская дума. Хан Мухаммед-Эмин. Рать Казанская. Немалый русский урон. Казанское ликований. Гнев государев. Снова под Казанью. Боярские радетели. Смирение Мухаммед-Эмина

Великий князь и государь Василий Иванович с боярами думу держал. И по тому, что собрал их не в новой Грановитой палате, а в старых хоромах, видно было, не очень-то Василий в боярском совете нуждался. Созвал так, по старинке, как еще от дедов заведено.

Князья и бояре дородные, важные, сидят на лавках вдоль стен, шуб и шапок высоких не сняв, дожидаются, когда Василий заговорит. А тот с высокого кресла обводит бояр цепким взглядом, словно насквозь прошупывает каждого. Вот глаза его остановились на боярине Версене, на миг задержались. Версенья передернуло, пронзила мысль: «Эк уставился, ровно коршун на добычу, чтоб те лопнуть».

Но глаза великого князя переползли на Твердю, потом на князя Вельского.

– Ведаете ли вы, к чему звал я вас? – неожиданно начал Василий. – Пора Казань нам искать.

Бояре насторожились. Князь Данила Щеня даже ладонь к уху приложил. А Василий речь продолжает:

– Времена ныне иные. Нет того, чтоб ордынцы страх на нас наводили. От Куликова поля иль ране, с Ивана Данилыча Калиты, завещано нам города и веси, от старины тянувшиеся к Руси, а при царе Батые под Орду попавшие, освободить.

– К чему Казань нам?! – выкрикнул Версень. – Нам Москвы довольно.

– Русь и без Казани велика! – поддержал друга Твердя.

Василий метнул на них гневный взор, пристукнул посохом.

– Умолкните! – И спокойно: – Возвысилась Москва потому, что Русь землю свою в единство привела, а Орда на улусы распалась, и усобица разъедает ее, как ржа железо. Хочу верить, что вам, боярам, крамола не по сердцу. – И Василий усмехнулся не по-доброму.

– Верно, государь Василий Иванович! – подхватился Михайло Плещеев, – Русь усобицами сыта!

Его брат, Петр Плещеев, поддержал:

– Нынче пушай ордынцы усобичают!

– Мудры слова твои, государь! – заговорил князь Данила Щеня. – Казанский хан Мухаммед-Эмин с крымским ханом Менгли-Гиреем враждуют, а османы-турки, подобно волкам ненасытным, зубами щелкают, норовят всех татар под свою руку прибрать, вокруг Менгли-Гирея хитрые сети плетут. Знают, что коли будет крымский хан от турецкого султана зависеть, а казанский – от крымского, то и вся Большая Орда под властью Порты окажется.

Боярин Версень хотел возразить, но Петр Плещеев перебил визгливо:

– Не можем допустить, чтоб, как при Батыге, Орда сызнова угрожала Руси! Настал час повоевать Казань, взять Мухамедку под руку великого князя Московского!

Василий дождался тишины, промолвил:

– По-иному не быть! Не дозволим туркам господствовать в Казани, пошлем рать на Мухаммед-Эмина. Не добром, так силой подчиним его Москве. А поведут полки воеводы – князья Вельский и Ростовский с братом моим Дмитрием. А нарядом ведать тебе, боярин Твердя. Дабы ты, Родион Зиновеич, головой своей уразумел, где Казани место быть...

И усиленно, с раннего утра допоздна, застучали молоты в кузницах. Выполняли оружейных дел мастеровые государев заказ, ковали для войска сабли и пики, вязали кольчужники броню, швецы-шорники шили конскую сбрую.

Горят костры по городу. Из дальних и ближних мест сходятся в Москву ратники. Князя и бояре со своими дружинами, как исстари повелось.

С апрельским теплом, когда просохли дороги, а реки очистились ото льда, тронулись полки из Москвы. Воевода Федор Иванович Вельский с великокняжеским братом Дмитрием пешую рать с огневым нарядом на суда погрузили, а воевода Александр Владимирович Ростовский повел конные полки сушей.

* * *

На исходе рамазана⁷ велел Мухаммед-Эмин перебить русских купцов, а московского посла боярина Яропкина кинуть в яму для преступников. Ханские глашатаи кричали на улочках Казани-города, на пыльных базарах: «Великий хан Мухаммед отрекся от мира с урусами. Неверный князь московитов Казань воевать собрался, о том купцы доносят! Готовьтесь, достойные сыны Чингиза и внука его Батыя!»

У Мухаммед-Эмина широкоскулое лицо, обрамленное рыжей бородой, и рысьи глаза. Хан мнит себя потомком Батыя. О том каждодневно шепчут ему раболепные мурзы. Они сравнивают его с Луной на усыпанном звездами небосклоне. Он, Мухаммед-Эмин, согласен с ними.

По утрам, когда хан в сопровождении телохранителей обходит белокаменные крепостные стены и с их приземистой высоты взирает на большой город и шумные базары, корабли у причалов, голову его не покидает назойливая мысль: как нет двух лун на небе, так не может быть двух великих ханов в одной Орде. Если бы Менгли-Гирей признал его старшинство, Орда была б едина, и тогда он, Мухаммед-Эмин, великий хан, повел бы тумены на Русь, заставил московитов стать на колени и платить дань Орде, как платили они ее со времен Батыя.

Но проклятый Менгли-Гирей слушает, что в его ослиные уши нашептывает лисий язык турецкого султана. По его вине он, Мухаммед-Эмин, долго жил с урусами в мире и терпел высокоумничанье их посла. Но, слава аллаху, кровь великих предков заговорила в Мухаммед-Эмине. Его темники стоят под стенами Нижнего Новгорода с наказом разрушить город, дабы московский князь, идя на Казань, не знал за спиной опоры, а нижненовгородский посадник не смущал татарских данников – чувашей да мордву с марийцами.

* * *

С приближением русских гребных и парусных судов татарское войско, так и не овладев Нижним Новгородом, спешно удалилось от города. Воевода Вельский предложил дожидаться конной рати воеводы Ростовского и только тогда наступать на Казань. Но князь Дмитрий, ссылаясь на волю брата, великого князя Василия, настоял на своем. Во второй половине мая русские полки высадились под Казанью.

⁷ Рамазан – девятый месяц мусульманского календаря, с конца февраля до конца марта.

* * *

В полутемных покоях великолепного ханского дворца, на дорогих коврах заморской работы, свернувши калачиком ноги, расселись полукрутом беки и мурзы, темники и муфтии. Неподвижны их лица, и взоры обращены на Мухаммеда. Он восседал, обложенный подушками. Речь его была тихой и плавной, как воды Волги-реки.

– О надежда моя, цвет Орды моей! Темники мои, Назиб и Абдула, воротились от Нижнего Новгорода и на хвостах своих коней привели урусов. Скажите, мои мудрые муфтии, верные беки и мурзы, не поклониться ли нам князю Василию, как кланялись князю Ивану? Не дать ли нам выкупом Москве и не послать ли нам в Московию заложниками наших детей?

– Великий хан, достойный хана Батыя, – заговорил седобородый муфтий, – разве у темников Назиба и Абдулы вместо сабель кнуты погонщиков верблюдов?

– О почтенный Девлет! Зачем язык твой изрыгает ругательства, – гневно прервал муфтия темник Омар. – Воины твои, хан, готовы биться с урусами.

– Якши, якши⁸, – довольно произнес Мухаммед-Эмин, и рысьи глаза его сверкнули. – Ты, Омар, поведешь тумены на урусов! Ты заставишь князя Дмитрия показать нам его спину.

Сидевшие загудели одобрительно. Темник Омар склонил голову, спросил почтительно:

– Означает ли это, о великий хан, что темники Сагир и Назиб, Абдула и Берке с Узбеком подчиняются мне?

– Твои слова для них – мой приказ, темник Омар. Идите, и пусть вам поможет Аллах!

– Аллах, аллах! – вразнобой повторили все.

– Слушаюсь и повинуюсь, великий хан, – снова склонил голову Омар и поднялся.

Следом за ним встали остальные темники.

* * *

Ночь сбрасывала свой покров. Рассеивающийся сумрак открывал корабли на реке, белеющие паруса и берега, тихие, будто мертвые.

Отужинав холодным поросячьим боком, князь Дмитрий, слегка похудевший за долгие дни плавания, вглядывался в берег. Незаметно приблизился князь-воевода Вельский, старый, но еще крепкий, с суровым, взрытым оспой лицом, сказал:

– Весть имею, татарские темники Назиб и Абдула в Казань не ворочались.

Дмитрий зевнул, сказал, будто не расслышав:

– Утром высадимся и город осадим. – Поежился. – Озяб я что-то.

– Пушай Родивон Зиновеич огневым боем стрельницы разбивает, – сказал воевода. – Порохового зелья вдосталь. Одного опасаясь, уж не замыслил ли Абдула с Назибом чего, не ударили б нам в спину. Куда они подались, как мыслишь, князь Дмитрий?

– Назиб с Абдулой как от Нижнего в бега кинулись, так и поныне хан их не сыщет, – рассмеялся Дмитрий. – Я того не опасаясь, о чем ты, воевода Федор Иванович, рассказываешь.

– Кабы так, к полудню приблизимся к городу да изготовимся. Ладьям же велим у пристани чалиться. Ордынцы хитры и ратники, особенно конные, искусные.

– Делай, как знаешь, Федор Иванович, – добродушно согласился Дмитрий, – а мне позволь прилечь.

– Передохни, князь Дмитрий. Коли нужда будет, разбужу.

⁸ Якши – хорошо.

Горячее солнце краем заглядывало под балдахин, припекло лицо, прогнало сон. Дмитрий открыл глаза, долго лежал, вслушивался. На берегу людской шум, гомон. От кораблей доносятся дружные вскрики:

– И-эх! И-эх!

«Наряд пушки снимает», – догадался Дмитрий и встал.

Отрок помог надеть панцирь, подал шлем и саблю.

По качающимся под ногами сходням князь перешел на берег. Воин подвел коня. Дмитрий долго не мог попасть ногой в стремя. Застоявшийся конь вертелся, грыз удила. Недовольный князь прикрикнул на воина:

– Придержи стремя!

С высоты седла огляделся. Полки уже выступили. Блистая на солнце броней, широкой лентой шла пешая рать. Дмитрий снял шлем, вытер вспотевший лоб. День выдался жаркий. Пустив коня, князь обогнал одну колонну за другой, разыскал воеводу. Тот, как и Дмитрий, был на коне. Увидев князя, сказал:

– За Поганым озером перестроим полки. Мыслится мне, что не станет Мухаммед дожидаться, пока мы ему ворота запрем, сам первым нападет.

– Что ертоульные доносят?

– Пока тишь вокруг.

– Иного и не будет, – весело тряхнул головой Дмитрий. – Вот поглядишь, князь-воевода Федор Иванович. Мухамедка, завидевши нашу рать, враз мира попросит.

Вельский пожал плечами, ничего не ответил.

* * *

Ордынцев увидели неожиданно. Их верхоконные тумены стояли плотной стеной...

Темник Омар с высоты холма наблюдал, как на ходу перестраиваются русские полки, разворачиваются крылья. Душа темника радуется: хорошее место для боя выбрал он. Русской рати тесно, и их пушки в пути, не успеют подтянуться, а татарской коннице вольготно. Ко всему тумены Назиба и Абдулы вот-вот подойдут, ударят урусам в правое крыло.

«Нет, хан Мухаммед-Эмин не ошибся, когда доверился мне, Омару, – думает темник. – Сегодня, не позже восхода солнца этих урусов порубят татарские сабли».

А вслух темник Омар говорит презрительно:

– Яман⁹ воеводы у князя Василья. – И сплевывает через плечо.

Темники Берке и Сагир согласно качают головами. Да, плохие воеводы у русских. Им не надо было идти за Поганое озеро.

Со степи полным наметом скакал всадник. У самого холма он осадил коня, спрыгнул наземь.

– Темники Абдула и Назиб ждут твоего слова, темник!

Омар посмотрел на изогнувшегося в поклоне сотника, потом на русские полки и снова на сотника.

– Спешу к темникам Абдуле и Назибу, пусть ждут моего знака.

Сотник птицей взлетел в седло, плеткой огрел коня. А Омар приподнялся в стремях, выкрикнул гортанно:

– Урагш!¹⁰

Гикая и визжа, вращая над головами кривыми саблями, понеслись на русские полки тумены Берке и Сагира. Их встретили роем стрел, копьями.

⁹ Яман – плохие.

¹⁰ Урагш – вперед.

В топоте копыт, многотысячном крике вздрогнула земля.

Сшиблись! Зазвенела сталь, дыбились кони, стучали боевые топоры и шестоперы, полилась кровь, упали первые убитые. Качались над бившимися русские хоругви и стяга, татарские бунчуки.

У воеводы Вельского мелькнула мысль: зачем дал он уговорить себя идти на Казань без конных полков князя Ростовского? Почему послушался он Дмитрия?

Успев заметить, что у татар левое крыло послабее, крикнул князю Дмитрию:

– Левым крылом тесни ордынцев! Посылай туда Большой полк, князь Дмитрий! С нами Бог! Там наша победа!

Темник Омар, увидев, как превосходящие силы русских теснят его тумены по правую руку, усмехнулся. И было в этой усмешке злорадство. Русские воеводы не разгадали его хитрости. Омар поманил стоявшего неподалеку десятника:

– Пусть Абдула и Назиб почешут этим урусам спины саблями...

А князь Дмитрий торжествовал. Русские полки теснят татар. Осталось ждать совсем мало до победы, скоро Дмитрий возьмет Казань и вернется в Москву.

Сладкие мысли великокняжеского брата нарушил тревожный вскрик воеводы Вельского:

– Татары со степи!

Дмитрий повернулся и вздрогнул. В спину Большого полка грозно надвигались тумены Назиба и Абдула.

Когда исчезла первая оторопь, Дмитрий подал сигнал к отходу. Заиграли рожки, и, отбиваясь лучшим боем, русская рать покатилась. По полкам сотники и десятники, сдерживая воинов, шумят:

– Спину не показывать, посекут!

Воевода Вельский коня вздыбил, крикнул:

– Я к Большому полку!

Полки успели развернуться, встретили конницу в копья, секиры. Дмитрию видно, как люто бьются воины. И хоть отступают, но не бегут. На сердце полегчало. Прокричал громко:

– Отходить к ладьям!

И услышали, повернули к кораблям.

Тут упал, сраженный стрелой, князь Вельский. Охнул Дмитрий, закричал:

– Князя Федора недругам не оставлять!

Воины подхватили тело воеводы.

А у казанцев ярость спадать начала. Верно, сила их иссякает. К полудню и совсем выдохлись. Отвел темник Омар свои тумены. По русским полкам радостный гул. Недоумевают: как удалось уцелеть? Кабы еще чуть навалились, всех посекли бы.

Вытер князь Дмитрий потное лицо ладонью, вздохнул облегченно:

– Слава те, Господи, кажись, спасены.

Но, тут же вспомнив, что придется держать ответ перед государем, помрачнел. Велик урон людской, и пушки казанцам оставили.

Дмитрий велел найти Твердю. Того насилу сыскали. Еще в начале боя, завидев конницу татар, бросил пушки, убежал на ладью, забился меж скамьями, дух затаил.

К вечеру поредевшие полки погрузились на ладьи. Уже когда отплыли, князь Дмитрий, примостившись на корме, отписал два письма: одно на Москву, великому князю Василию, другое – в Нижний Новгород, воеводе Киселеву, дабы тот со своими воинами и огневым нарядом спешил на подмогу. Да не забыл позвать с собой верного Москве татарского царевича Джаналея, недруга казанского хана Мухаммеда-Эмина.

* * *

На пыльных базарах и узких улицах, на поросших первой травой площадях и у строгих мечетей, нарушая вечернюю тишину, враз забили кожаные тулумбасы, завопили ханские глашатаи:

– Слушайте, о люди Казан-Сарая! Слушайте, о чем говорим мы! О великий Мухаммед-Эмин! О доблестные его темники! Слушайте, о славные казанцы, о чем скажет вам наш язык!

Небо ниспослало нам достойнейшего из достойных ханов. Мухаммед-Эмин сын великого отца, внук великого деда, потомок Бату-хана и Чингиза!

Великий из великих хан Мухаммед-Эмин победил шайтанов урусов. Его темник храбрый Омар сразил темника урусов князя Вельского, а князя Дмитрия багатуры гнали, как гонит хозяин своего шелудивого пса...

О небо! О великий хан!

И глашатай воздевал над головой руки, а толпа подхватывала радостно:

– О великий хан!

Эти выкрики торжествующих толп доносились до ханского дворца, где Мухаммед потчевал своих темников.

Поджав ноги, они сидели на коврах полукругом, еще не остывшие от дневного боя, и перед ними дымились блюда с пловом и кусками молодой конины, жареными мозгами и жирными лепешками.

Поддевая пальцами рассыпчатый рис, темник Омар ел не спеша, чавкая, запивая кумысом, вытирая время от времени лоснящиеся ладони о полы шелкового халата.

Темники молчали, слушали Мухаммед-Эмина, изредка прерывая его одобрительными восклицаниями.

Омар кивал головой, поддакивал хану, хотя и знал: урусы побиты, но не разбиты совсем. Они уплыли сегодня, но могут воротиться завтра с силой двойной. А потому надо готовиться встретить их, но не дуться от важности, как Мухаммед-Эмин, и не проводить время в праздном безделье.

Темник Омар думал об этом, а вслух не произносил свои мысли, терпеливо сносил бахвальство Мухаммед-Эмина.

Хан хлопнул в ладоши, подал знак, чтоб темники уходили.

Когда Омар покинул ханский дворец, на город давно уже опустилась ночь. Поднявшись на широкую крепостную стену, он вглядывался в темень. Его по-рысьи зоркие глаза разглядели отблескивавшие внизу воды Казанки-реки и Волги. А за Казанкой кольцом горели костры. То багатуры сторожат пленных урусов.

Омар в который раз задает себе вопрос: «Когда ждать урусов?»

Что они воротятся, Омар в этом не сомневается. Но сколько пройдет времени?

И, не ответив на свой вопрос, темник решает тумены Абдулы и Назиба послать вверх по Казанке-реке. Пусть стоят там в лесах скрытно от князя Дмитрия.

* * *

Во гневе государь Василий Иванович. От брата Дмитрия недобрая весть. Отошли полки от Казани с немалым людским уроном, потеряв огневой наряд и воеводу, князя Вельского.

Сжав пальцами тронутые сединой виски, Василий расхаживает по Грановитой палате, говорит резко:

– Вельский виновен во всем. Зачем без князя Ростовского судьбу пытал? Вот и бесчестье терпим по глупости его.

Замолчал. Молчат и бояре, сгрудившиеся посреди залы. Да и что возразишь? Какое воинство послали на Казань, ан они разобща Мухаммеда покорить надумали. Им бы в один кулак собраться да ударить по городу. Гордыня у каждого превыше здравого разума.

Князь Василий Данилович Холмский наперед бояр подался, почесал затылок.

– Эх, греха сколько! – и с досады рукой махнул. – Не неук воевода Вельский был, а поди...

Боярин Версень недовольно повел бровью, защитил Бельского:

– Почто с одного Федора Ивановича спрос? Там же чать и князь Дмитрий Иванович воеводой.

Василий замедлил шаг, проронил насмешливо:

– Ты, боярин, не умничай.

Потом, заложив руки за спину, заходил, шагая широко. Длинные полы шитого серебром кафтана развевались на ходу, высокий воротник подпирал бороду. Откашлялся, снова сказал:

– И хоть воевода Вельский голову сложил, ан без славы. И нам, всему воинству, позор...

– Сколь людства загубили и казне урон, – вздохнул Михайло Плещеев.

– Воинству нашему от Казани поворот и на веки веков, – снова просипел боярин Версень. – Мы с боярином Твердей упреждали о том, ин нас во злом умысле упрекнули.

Государь круто поворотился, вперился темными глазами в Версень. Сказал тяжело:

– Вот в чем речь твоя, боярин?

Версень отшатнулся в испуге, а Василий дышит в лицо, продолжает говорить:

– Не о деле пеклись вы, бояре, а не хотели зады от лавок отрывать, в поход идти. За то же, что Твердя пушки утерьял, заставлю ответ держать.

– Великий князь... – попытался вставить слово Версень.

Василий оборвал его резко:

– Не токмо великий князь я есть вам, но и государь! Го-су-дарь! – по слогам повторил он. – И так величать меня надлежит, како и отца моего, Ивана Васильевича, звали!

И тут же, повернувшись к князю Холмскому, сказал уже спокойно:

– Тебе, князь Василий Данилович, мое повеление. Поведешь полки на подмогу брату Дмитрию. А нынче нарядим гонца, пускай Дмитрий Иванович дождетя тебя, князь, с войском и допрежь Казани ему не искать. И тот гонец пусть скажет Дмитрию, чтобы отрядил ко мне на Москву боярина Твердю.

* * *

Затихли к ночи княжьи хоромы, опустели. Гулко. Заскрипят ли половицы под ногой, либо застрекочет сверчок за печкой – по всему дворцу слышится.

Накинув на плечи кафтан, Василий направился в опочивальню жены. Перед низкой железной дверцей постоял, будто раздумывая, потом потянул за кольцо. Смазанная в петлях дверь открылась бесшумно. Пригнув голову, Василий переступил порог. Опочиваленка тускло освещалась тонкой восковой свечой. За парчовой шторой молельня. Оттуда раздавался монотонный голос Соломонии. Василий заглянул в нишу. Стоя на коленях, Соломония отбивала поклоны.

В свете лампы блестело золото икон, пахло лампадным маслом, сухими травами, развешанными по стенам молельни. Великий князь знал: Соломония лечится травами от бесплодия. Горько усмехнулся.

Опустив штору, Василий сел на край кровати. Под тяжестью заскрипело дерево. Вошла Соломония. Увидев мужа, не обрадовалась, спросила строго:

– Почто не упредил?

Василий ответил сухо:

– Не всегда успевают. – И, повременив, закончил: – Коль не рада, могу уйти.

– Чего уж. Раз пришел, оставайся.

Скинув кафтан и сапоги, Василий лег. Соломония задула свечу, улеглась рядом. Рука Василия коснулась ее плеча. Она отстранилась. Долго лежали молча, уставившись в темень потолка. Первым подал голос Василий, сказал с упреком:

– Холодна ты, Соломония, аки печь без огня.

Она ответила бесстрастно:

– Какою Бог сотворил.

– Не воспаляешь ты меня, а гасишь живое, что есть во мне. Остыну я с тобой.

Соломония молчала. Замерла недвижимо, чужая, недоступная. А Василий уже поднялся, натянул сапоги и, надев кафтан, бросил обидное:

– Цветешь ты, Соломония, бесплодно, аки пустоцвет на дереве, без завязи. На что обрекаешь меня?

Сердито толкнул ногой дверь, вышел из опочиваленки.

* * *

На полпути между Нижним Новгородом и Казанью князь Дмитрий велел причалить к берегу, выждать подмоги. Суда и насады, струги и бусы лепились борт к борту, покачивались на волнах. Над рекой не смолкал людской шум. Дмитрий зяб. Княжий челядинец разжигал огонь в железном шандале, но тепло от него не согревало.

Дмитрий нервничал, князь Ростовский не спешит. Верно, хочет прийти к месту, не заморив долгим переходом ни воинов, ни коней.

Не было Дмитрию ответа и от государя. А вот воевода Киселев и царевич Джаналей уведомили, что ведут к нему на подмогу свои конные полки.

Минул май...

С приходом воеводы Киселева и Джаналея князь Дмитрий снова подступил к Казани. Опоясали полки белокаменные стены кремля, а пешие ратники осадили Аталыковы и Крымские ворота. Конница Киселева и Джаналея через Казанку-реку переправилась, остановилась на том берегу.

С высоты стен казанцы русских воинов задирают, стрелы пускают. Воевода Киселев крепость обстрелял, а на третий день закончился пороховой заряд. Попробовали русские мостовики наладить через речку Булак переправу, чтоб закрыть Царевы ворота, но темник Омар конницу выпустил, отбил их.

Посоветались воеводы. Не так и высоки стены, а приступом не возьмешь, укреплены изрядно.

Постояла русская рать под Казанью, посад сожгла и отступила. Малые силы. Ко всему дозоры донесли, Абдула и Назиб в спину Киселеву и Джаналею нацелились.

* * *

День воскресный. Отслужив обедню, митрополит Симон вышел на паперть собора. Нищие и юродивые подлезли под благословение. Осенил одним крестом всех и, постукивая по булыжникам посохом, направился в княжеские хоромы. По пути останавливался, подолгу

смотрел на зеленые кусты сирени, трогал молодые нежные листья липы, качал головой, при-
чмокивал от удовольствия, и на высохшем лице – печать благодушия и умиротворения.

У высокого княжьего крыльца два караульных воина осторожно взяли митрополита
под руки, помогли подняться по крутым ступенькам. А когда Симой скрылся в хоромаш, один
из воинов сказал товарищу:

– Велик сан митрополичий, ан не хотел бы я иметь его.

Второй возразил:

– Отчего, почет какой!

– Чести много, да ни семьи те, ни детей.

– Этому старцу жена ни к чему.

– Не всегда он древним был. Верно, и молодость знал.

Государь встретил митрополита, провел к креслу. Сам уселся напротив.

– Зачем, отче, трудился, шел? Прислал бы монаха, я бы тебя навестил, коль понадо-
бился.

– Без нужды зашел яз к те, сын мой, – замахал рукой митрополит. – Давно не видел
тебя, вот и надумал проведать.

– Спасибо, отче, за память. Знаю, печешься ты обо мне.

В голосе Василия Симон уловил насмешку, но оставил ее без внимания. Сказал
печально:

– Слышал яз, будто воинство наше от басурманской Казани поворотило.

Василий ответил сурово:

– За то спрос будет с воевод, отче. Тебе же с попами молиться надобно с усердием,
чтоб даровал Бог победу брату моему Дмитрию. Ныне послал я к нему на подмогу князя
Холмского.

– Господь не оставит нас без милости своей! – Симон перекрестился. – И еще слышал
яз, что ты зело зол на боярина Родиона Зиновеича. Так ли то?

– Отче, – Василий поднялся, – вели в мирских делах мне судить. Коли же ты о боярине
Тверде печешься, то отвечу, грех на нем большой.

– Господь учил нас прощать вины! – Симон поднял палец кверху. – Яко и он прощает
нам вины наши.

– Твердя достоин, чтоб дьяк Федька с него допрос учинил в избе пыточной.

– Родион Зиновеич древнего боярского рода, помни то, сын мой.

– Он, отче, не передо мной виновен, а перед Москвой!

– Не казни бояр, сын мой, черни на потеху.

Симон поднялся, поправил клобук, сказал уже о другом:

– Поглядел яз на тебя, сын мой, теперь к себе отправлюсь.

Василий поклонился. Уже у двери пообещал:

– Прости, отче, коли что не так говорил. О Тверде же обещаю подумать.

Оставшись один, Василий долго стоял недвижимо.

«Бояре – что осы в гнезде. Одну тронь, все кидаются. Не успел Родиона наказать, как
за него вишь какие заступники сыскались. А наемни Соломония тоже».

И Василий припомнил утренний разговор с женой. Соломония спросила его:

– Слыхала, будто боярина Твердю казнить собираешься?

Василий ответил ей грубо:

– А твое какое дело?! К чему печаль?

– Не замай бояр, они опора твоя!

– Так-то и опора, – насмешливо прищурился Василий. – Кои плечо подставляют, тех
не оттолкну. Кои же подножку готовят, не милую. И ты, Соломония, прошу в дела мои госу-
дарственные нос не совать и за бояр-отступников либо провинившихся в защиту не идти.

Василий покачал головой, сказал сам себе:

– Быть бы тебе, боярин Родион, питанным дьяком Федькой, да уж ходатаи у ты сильны.

* * *

– Авдоха! Авдоха! – высунувшись из дверей, голосисто звала боярыня Степанида. Ее пронзительный крик разносился по всему двору.

Из людской избы показалась ядреная краснощекая баба, вперевалку направилась к боярыне.

– Авдоха, боярина Родивона Зиновеича попарь!

– Отчего не попарить. Попарить завсегда можно, – равнодушно промолвила баба и повернула к кулившейся по-черному в углу двора баньке.

В бане жарко. За паром не углядишь. Боярин Твердя разлегся на лавке, нежится. С дальней дороги костям покой и душе радость, миновал его княжий гнев. Никто и в мысли не держал, что так все обернется.

Когда вчерашним вечером воротился в Москву и шел к великому князю, повстречал дьяка Федьку. За низким поклоном, что тот отвесил ему, уловил Твердя злую ухмылку.

Спрятал дьяк смехок в бороде, а глаза по боярину зыркают. У Тверди от недоброго предчувствия мороз по коже загулял. Плюнул вслед дьяку, проворчал: «Тьфу, поганец. Без крови не может жить».

Ныне-то, ныне какая благодать! Авдоха, двум мужикам не уступит, юбку за пояс подоткнула, мнет боярину кулачищами спину, из бадейки горячей водой поливает и время от времени по боярину березовым веничком хлещет. Родион Зиновеич еле дух переводит. Хлебнет из кувшина холодного кваса и снова на лавку. Что набрался насекомых за дорогу, всех Авдоха выгнала.

Твердя разомлел, тело огнем горит. Из горла не слова, хрип раздается:

– Поясницу, поясницу, Авдоха, подави!

И снова вспомнил пережитое волнение. Подумал: прикажи Василий отдать его, Твердю, в пыточную, сейчас не Авдоха его парила б, а дьяк Федька над ним изгалялся.

Кабы не упредил Версень Степаниду, а та не упала в ноги великой княгине и митрополиту, не миновать ему беды. Тем и отделался, что нашумел на него Василий, страху нагнал. Под конец же утих, сказал: «Тя, Родион, посылаю на Пушкарный двор боярином. Повертишься меж работного люда, поглядишь воочию, каким трудом пушки мастерят, вдругорядь не кинешь их, подумаешь».

Твердя огорчился. Придется все дни на Пушкарном дворе отсиживать, и голубей не попугаешь, но перечить великому князю не стал. Виновен, спасибо, что живота не лишил...

Авдоха холодной водой окатила боярина и вслед – горячей. Телу стало легко и покойно. Твердя попросил:

– Довольно, Авдоха, давай одежду.

* * *

Ушли русские полки от города, но Мухаммед-Эмин в тревоге. Ертоульные доносят: под Нижним Новгородом князь Дмитрий силу копит, не иначе снова пойдет на Казань. Ко всему из Москвы приплыли торговые гости – и тоже в один голос: опередили-де они несметное войско князя Холмского. А тут еще проклятый царевич Джаналей. Орде изменил и разослал своих людей по улусам, на Мухаммед-Эмина татар подбивает, на Казань зовет...

Собрал Мухаммед-Эмин муфтиев и беков, мурз и темников, совет держит. Больше всех шумит муфтий Девлет. Его тонкогубый рот не закрывается. Девлет поносит темников, винит их в трусости.

У темника Омара лицо покрылось багровыми пятнами, но он сдержался. Нельзя уподобляться сварливой женщине или ревущему ослу, как случилось с муфтием.

Но вот Девлета прервал длиннолицый мурза Уляб.

– О, почтенный муфтий, – воздев руки, проговорил мурза. – Ты говоришь, как всегда, мудро, но поверь, сегодня твоя мудрость утонула в гневе. Где возьмем мы столько багатуров, как у московитов?

– Мурза Уляб, – тонкоголосо взвизгнул Изет-бек, – неужели ты готовишься лизать сапоги урусам?

Уляб поднялся вперед, метнул на Изет-бека злобный взгляд. Но не успел возразить, как заговорил Омар:

– О великий хан! О достойные его муфтии, беки и мурзы. Мы дважды прогоняли урусов, и никто из вас не упрекнет нас в трусости. Но теперь, когда к урусам пришло много воинов, разум подсказывает, мы не можем сразиться с ними в поле. Они одолеют нас числом. Если же мы закроемся в Казань-городе, они возьмут нас измором. Откуда нам ждать помощи? Крымцы и ногайцы смотрят на нас недругами, Джаналей давно ходит под Москвой, и вы видели его тумен под Казанью... Я сказал, что думаю. – Омар повернул голову к темникам. – Это же могут подтвердить и они.

Берке, Сагир, Назиб и Абдула закивали согласно.

– Мудрые мои советчики, – печально проговорил Мухаммед-Эмин. – Я вижу, большинство из вас склоняется к миру с Василием. Мы освободим боярина Яропкина и вернем Василию тех пленных урусов, что добыли в бою. Мы признаем над собой власть великого князя Московского, такова воля Аллаха.

– Воля Аллаха! – подхватили остальные и разом поднялись.

Отвешивая хану низкие поклоны, муфтии, беки, мурзы и темники удалились.

Глава 4

Пушкарных дел мастеровые

Лень начинается с зарею. Нежданная беда. Вассиан. Антипа секут. День воскресный. Село подмосковное. Степанка-пушкарь

Не спят на Пушкарном дворе. Едва рассвет забрезжил, на всю избу зычно раздался голос старшего:

– Подымайсь!

На нарах завозились, зашумели. Сергуня продрал глаза, спустил ноги вниз. Кто-то, верно сам старшой, высек искру, вздул огонь. В тусклом свете лучины люди копошились, кашляли. В избе дух тяжелый, спертый.

– Дверь распахни! – подал голос Богдан.

В открытую дверь потянуло свежестью. Качнулся огонек лучины. Задвигались на стене уродливые тени. В барачной избе, построенной на Пушкарном дворе, жил бессемейный работный люд, не имевший в Москве пристанища.

Богдан с Игнашкой давно переселились на Пушкарный двор. Мечтали, на время, ан который год минул...

– Степанка, слышь-ка, пробудись, – толкнул Сергуня друга и принялся надевать лапти.

Степанка нехотя оторвал голову от нар, проворчал:

– И чего спозаранку всколготились?

Одеваясь, продолжал ругаться.

– Айда умоемся, – прервал его Сергуня.

– Желания нет. Все одно за день измажешься.

Выбежал Сергуня во двор, сереть начало. Гасли звезды, и на востоке заалела заря, яркая, к ветру. Он уже перебирал листья деревьев, лез Сергуне под рубаху. Пушкарный двор ожил. У плавильной печи возился народ. Слышался стук топоров.

Спустившись к Неглинной, Сергуня торопливо поплескал на лицо, помыл руки и, вытеревшись рукавом, заторопился в избу.

Стряпуха разложила по глиняным мискам кашу.

– Ну-тко начнем, – сказал мастер и постучал деревянной ложкой по краю стола.

Черпали споро. Не успели начать, как опорожнили миску.

«Ели – не ели, а в животе пусто», – подумал Сергуня.

Богдан пошутил:

– Вы, ребята, брюхо веревкой подтяните, гляди урчать перестанет.

Тут старшой снова голос подал:

– Засиделись, пора на работу.

Мастер Богдан поднялся первым, за ним, подражая отцу, Игнаша. Богдан проговорил:

– Тебе, Сергуня, со Степанкой урок, медь носить от плавильни.

Сергуня промолчал, а Степанка, выходя, буркнул:

– Какой день носим. Когда обучать будешь?

Мастер положил ему на плечо руку, ответил строго:

– Когда тебе любая работа у нас не будет в тягость, тогда на иное переставлю.

* * *

В тот день у плавильной печи случилась беда.

Поначалу все шло как обычно. В кузницах ковали железо. Мастер Антип священнодействовал, варил бронзу. От печи пылало жаром, чухали глухо мехи, посылая в ее огненное чрево воздух и известковую толченку. Иногда Антип настораживался, прислушивался к доносившемуся из печи клекоту. По одному ему понятному признаку проверял, готова ли бронза.

Боярин Твердя, изнывая от безделья, уместился неподалеку от печи на бревне, зевал. Скучно. Размяться бы, да отлучиться нельзя. Встряхнул головой боярин, прогнал сон. Пома- нил пальцем Степанку.

– Принеси-ка мне воды родниковой, да живо.

Убежал Степанка, а Сергуня присел на край чана передохнуть. Только вытянул сомлев- шие ноги, как вдруг с силой вырвало у пета чек, струей ударила расплавленная бронза, потекла по желобу.

Вскочил Сергуня, завопил испуганно. Твердя тоже увидел, орет:

– Вареву спасайте, ироды!

Схватил Антип молот, к печи кинулся – дыру закрыть. Из-под молота расплавленная жижа брызжет, на лапти падает, горит. Завоняло паленым мясом. Сцепил зубы Антип, стонет, а молота не выпускает.

Подбежал Богдан, зашумел:

– Чан, чан, робята, подставляйте!

А у Антипа из глотки не голос, хрип:

– Не сварилось еще, нельзя пущать!

– Пропади оно пропадам! – обозлился Богдан.

Игнаша с Сергуней мигом подставили чан, а Богдан ухватил Антипа, силком оторвал от печи, на руках отнес в сторону, положил на траву, принялся торопливо срывать с ног лапти, сыпать на обгоревшее тело холодную землю. Вокруг Антипа мастеровые столпились. Боярин Твердя растолкал их, бранится, на губах слюна от злости.

– Вару-то сколь перевели, басурманы. Засеку виновных!

Богдан поднял голову:

– Эк, боярин Родивон Зиновеич, зачем говоришь такое? По-твоему, лучше б Антипа лишились? Где мастера такого сыщешь?

* * *

– Аграфенушка, почто скучная? – допытывался боярин Версень у дочери.

Аграфена все отмалчивалась, наконец сдалась:

– Степанку жалко.

– Ух ты, – взбеленился боярин. – Что в голове держишь? Я вот запрю тебя в светлице, чтоб и ноги своей не казала на улице. Слыханное ль дело, с дворовыми отроками дружбу водить! А я-то, я-то хорош. Словам тиуна Демьяна веры не давал. Ай-ай, – корил он себя...

Каждый раз, заводя о том разговор, Версень от гнева пучил глаза, тряс бородой.

– Степанка в бегах. Изловлю, засеку, – грозил он.

Аграфена ругани отцовой не пугалась, дулась обиженно.

И Версень остывал. Знал, своенравная дочь, добром с ней лучше. Заговаривал помягче, спокойней:

– Ну как, Аграфенушка, бояре о тебе скажут? Тобе чать, замуж скоро, а ты все озору- ешь.

– Я, батюшка, – ответила ему Аграфена, – от тебя уходить не думаю и замуж не хочу. Нет у меня охоты в мужнюю рожу глядеть.

– Ах, негодница, – хихикнул Версень, остыв от гнева, – аль не люб тебе никто из боярских сынков? Неволить я тебя не стану, но с дворовыми отроками дружбу не води...

Аграфена те отцовы слова мимо ушей пропускала. От стряпухи знала она, что Степанка где-то в Москве. Каждый раз, выходя в город, надеялась увидеть его. Хотелось Аграфене посмотреть на Степанку да узнать, когда же будет он именитым.

Посмеивалась в душе Аграфена, представив Степанку боярином вроде отца либо Родиона Зиновеича.

Но Степанка исчез, и начала Аграфена думать, что покинул он Москву навсегда.

* * *

Подкралась смерть и к митрополиту Симону. Загодя почуяв ее, позвал он к себе Иосифа Волоцкого, исповедался. Один на один при последнем издыхании говорил Симон настоятелю:

– Хочу сказать те, сыне. Великий грех взяли мы с тобой на душу. И хоть отпустил ты мне вины мои, но казнюсь яз душой. Силен искушитель, коему поддался яз в тот недобрый час.

Иосиф наклонил голову. Бледными тонкими пальцами затеребил тяжелый серебряный крест на груди. Спросил сдавленно, глухо:

– О чем ты, отче?

– Сам, сыне, ведаешь. К чему прикидываешься? Помнишь, как приезжал ко мне и о Вассиане речь вел? Так скит тот, знаю яз, сожгли.

Симон вздохнул. Брови Иосифа взметнулись. Он проговорил сердито:

– Вот ты о чем, отче. Но то дело рук Вассиановых людишек Их злодейство. Подобно гадам ползучим, жалят они нас. Глаголят, мы-де огнем очищаемся.

– Нет, – прервал его печально Симон и поморщился. – Не говори мне ныне того, не успокаивай. Вишь, яз перед Богом встану и ему за вины наши с тобой отвечу. На Вассиане нет греха, коий мы захотели на него взвалить. Смирись, сыне, смирись, и Бог простит тя.

– Прости, отче, – Иосиф склонился к ложу умирающего, – прости.

Слабым, лишенным жизни голосом Симон ответил:

– Кайся, сыне. Яз же беру грех твой на себя. – перевел дух. Глаза его медленно закрылись. Одними губами, спокойно прошептал: – Прощай, сыне.

* * *

Давно не видывал Вассиан Москвы, давно. В молодые годы попал в Белозерский край. Постригли его в монахи, и с той поры жил он в ските Нила Сорского. От него и учение принял. Люто ненавидел Вассиан Иосифа Волоцкого и его последователей. В проповедях своих верный ученик Нила грозно обрушивался на игумена Иосифа и иосифлян, упрекал их в корысти и алчности. Воинственным нестяжателем, злым Вассианом звали его иосифляне.

В споре, в долгой борьбе раскололась русская церковь. Одни иосифлянами себя считали, другие – нестяжателями.

Бояре нестяжателей руку держали. Ишь какие у монастырей земельные угодья! Так, гляди, церковники и на боярские вотчины замахнутся. У попов глаза алчные, брюхо ненасытное.

Проповеди нестяжателей лишить монастыри земельных наделов были по душе и тем смердам, кто пахал ее и сеял на ней. Но иосифляне сильны, за них стоял и покойный великий князь Иван Васильевич, и митрополит Симон.

Нынешний митрополит Варлаам, как и великий князь Василий, проявляет к нестяжателям терпение, да надолго ли? Вот и Вассиана позвал на Москву великий князь Василий, к столу приглашал. Но зачем из Белозерского края вызвал, ни словом не обмолвился, а Вассиан сам об этом не спросил. Надо будет, Василий скажет...

С зарею поднялся Вассиан, долго молился, не покидая кельи, потом, нахлобучив скуфейку, вышел во двор.

Высокий, ширококостный, с грубыми чертами лица и крепкими, привычными к работе руками, Вассиан совсем не походил на того, прежнего боярина. Но ведь и времени прошло! Посчитай, скоро двадцать лет, как распрощался он с мирским именем. Тогда звался он не Вассианом, а боярином Василием, сыном именитого Ивана Юрьевича Патрикеева.

Были бояре Патрикеевы противниками великой княгини Софьи. Не могль смириться, что она власть великокняжескую над боярской выставляла. Хотела бояр холопами государевыми видеть. И за ту нелюбовь к княгине Софье подверглись Патрикеевы суровой опале...

Прикрыв дверь кельи, Вассиан осмотрелся. Симонов монастырь в Москве, где поселился Вассиан, огромный и многолюдный, не сравнить с Сорским скитом. Там низкие, тесные кельи одна к другой лепятся, бревенчатая избушка, здесь, в Москве, церковь просторная, с шатровой крышей и апсидами¹¹. Кельи монашеские хоть и рубленые, но добротные. Здесь же, в монастыре, светлая трапезная с длинными опрятными сосновыми столами и лавками; к трапезной примкнула поварня. В углу двора бревенчатые амбары, на дверях тяжелые замки, за амбарами баня. Монастырь с постройками обнесен высокой изгородью.

Нет у Симонова монастыря земель, но живет его братия безбедно. Кормят смерды из окрестных сел, да и бояре подносят. РадуетсЯ Вассиан... К этому и зовет он. Зачем монастырям земли? Лишняя забота отрывает монахов от церковных служб...

У входа в поварню инок колол дрова. Заметив Вассиана, низко поклонился. Вассиан подошел к нему, взял топор, легко взмахнул, ударил по чурке. Она с треском раскололась. Снова взметнулся топор в руках Вассиана.

Колол дрова долго, со знанием. Там, у Нила в ските, привык к этому. Когда гора чурок уменьшилась вдвое, передал топор иноку. Зазвонили колокола на звоннице, настойчиво созывая к утрени монахов и прихожан.

У распахнутых настежь ворот со скрипом остановилась колымага. Вассиан пригляделся. Хоть и издали, а без особого труда узнал в подъехавшем на богомолье боярина Версеня. Подумал: «Все такой же худой, без дородности боярин Иван».

Смахнув с лица пот, Вассиан не спеша прошел в церковь.

* * *

Выстояв утрению, Вассиан с Версением уединились. В келье полумрак, тишина. По стенам сухие травы висят пучками, привялой травой посыпан дощатый пол, и от всего этого в келье пахнет лугом.

Разговор вели долгий, неторопливый. Сидели друг против друга, удивлялись, как незаметно постарели, каждому за сорок перевалило. В волосах густая седина, и лицо в морщинах.

— За кои годы встретиться довелось, — плакался Версень.

— На то воля не наша, — задумчиво произнес Вассиан. — И не по охоте покинул я мирскую жизнь. Но не ропщу.

Поскреб Версень в бороде, сказал с сожалением:

¹¹ *Апсида* — часть церкви, примыкающая к основному корпусу.

– Кабы послушал нас великий князь Иван Васильевич в ту пору да завещал великое княжение не Василию, а внуку Дмитрию, то не случилось бы того, чем ныне тяготимся.

– Сам ведаешь, Софья с Василием в силу вошли, – прервал его Вассиан. – За то, что противились им, и кару претерпели. Нынче, боярин Иван, строптив Василий, как прежде, либо обмяк?

Версень сокрушенно махнул рукой:

– А, пустое. Горбатый горб до гробовой доски носит.

– Это верно, – поддакнул Вассиан.

– Надменен Васька и своенравен. Не терпит, кто перечит. Грит: «Осударь я вам!» – перекинулся Версень.

– В отца, – вставил Вассиан и нахмурился. – Круто княжит.

– Куда как круто, – поддакнул Версень, – Семен да Юрий на что родные братья Василию, и те на него недовольство таят. А уж что до Дмитрия, так того на поругание под Казань отправил. Вишь ты, басурманского царства Васька возалкал, а ему от ворот поворот. – Версень хихикнул. – А упреждали мы его, особливо я да Родивон Зиновеич. Поди, помнишь, боярина Твердю? Так на меня Васька разорался, попрекать зачал, а боярина Родивона Зиновеича ныне на Пушкарный двор упек. Мается Родивон с работным человеком. И еще что хочу сказать тебе. – Версень склонился к Вассиану, зашептал в самое ухо: – Слышал, Соломонию Васька попрекает в бездетности, бесчестит, не чтит за великую княгиню. И еще за то Васька не любит Соломонию, что она в защиту бояр идет. Знает, великая княгиня за бояр, а они за нее стеной встанут...

– Ох-хо-хо! – вздохнул Вассиан. – Византийское лукавство и высокомерие в крови великокняжеской.

Версень опередил:

– От Софьи все повелось.

– То так, – согласился Вассиан. – От нее великие князья государями нарекают себя.

Замолкли надолго. Наконец Версень нарушил тишину:

– Как прослышал, что ты воротился в Москву, возрадовался. Ко всему за неудачу у Казани Васька хоть и озлобился, да все же щелчок ему по носу. Знай, сверчок, свой шесток! – Версень довольно рассмеялся. Вытерев глаза от набежавшей слезы, закончил: – Может, теперь голосу нашему внимать почнет.

Вассиан неопределенно пожал плечами:

– Кто знает... Я вот на мудрость митрополита Варлаама полагаюсь. К нам, нестяжателям, он льнет, хоть виду не кажет. Может, он на Василия влиять будет. Дай время, поглядим. Симон стар был и с Иосифовых слов говорил.

– Засиделся я у тебя, Вассиан, – поднялся Версень. – Радуюсь, что повидались, и душу отвел.

Вассиан проводил его до ворот. Колымага, тарахтя по бревенчатому настилу, отъехала от монастыря, а Вассиан еще долго глядел ей вслед.

* * *

Били Антипа два дюжих ратника. Исписали оголенную спину синими полосами. Сцепил зубы Антип, стонет, но не кричит. Боярин Твердя самолично удары считает. На двадцатом махнул рукой:

– Довольно!

Отвязал страж Антипа, толкнул. Долго валялся мастер, пока опаматовался. Потом поднялся, опустил рубаху, ушел к печи. А боярин Твердя кричит вслед:

– Пора медь варить! Да вдругорядь доглядывай. Коль еще испортишь, вдвойне палок отведает.

Сергуня на эту казнь со страхом глядел. Речи на время лишился. Работный люд на казнь молча взирал.

Ночью Сергуня не спал, метался. Богдан лежал рядом, пробудился, положил руку Сергуню на плечо.

– Ничего... Еще не то повидать придется. Что поделаешь...

Сергуня приподнялся на локте, спросил с упреком:

– Что никто за Антипа не заступился? Он невиновен.

– И-эх, правда за тем, кто сильнее. Вон у боярина Тверди стража да княжьи воины, оттого он и смел с нами. Попробуй перечить ему, бит будешь... Ну ладно, разговорились. – Богдан повернулся на другой бок. – Спи, завтра рано вставать. Да и боярин прознает нена роком наши разговоры, палок отведает. А Антип что, заживет спина.

* * *

В воскресный день на Пушкарном дворе отдых, и Сергуня со Степанкой бродили по Москве. На улицах людно. На Красной площади качели до небес взлетают, гулянье. Тут же торг пирогами и пряниками, калачами и бубликами, сбитнем и медовым квасом.

У Сергуни со Степанкой в карманах пусто. Утром еще как съели по ломтю хлеба с луковицей – и до обеда во рту ни крошки. Попробовал было Степанка у бабы калача выпросить, та визг подняла, словно режут ее, и только. Другие бабы тоже зашумели. Пришлось Сергуню со Степанкой улепетывать, пока бока не намяли.

– Небось сама сыта, – посетовал Степанка, – а тут калача пожалела.

– Я как денгой обзаведусь, так попервах пряников и пирогов натрескаюсь и всех, кто пожелает, накормлю до отвала, – сказал Сергуня.

Степанка хмыкнул:

– Так уж и накормишь. Да у тебя сроду и денег столько не будет, чтобы всех насытить.

– Может, и так, – печально согласился Сергуня.

У самой Москвы-реки скоморохи-дудошники народ потешают, а у кремлевских ворот гусельник выбренькивает. Немало, верно, перевидел он, исходив по Руси. Одежда на гусельнике – лохмотья, лицо обветренное, темное, но песни радостные, легкие для души. Послушали его Сергуня со Степанкой, и вроде есть перехотелось.

Прокатил через площадь боярин. Колымага цугом запряжена, немазаные колеса скрипят на все лады, а боярин сидит важный, нос задрал и на люд никакого внимания.

Тут Степанка Сергуню за рукав цапнул:

– Гляди, Аграфена!

Повернулся Сергуня. Боярышня складная, хороша собой.

– Красивая! – прицокнул языком Сергуня.

Аграфена не замечает Степанки, смотрит на качели. Дернулся Степанка и застыл. Теперь и Сергуня приметил, отчего испугался Степанка, почему за народ прячется. Позади Аграфены журавлем вышагивает боярин, от какого они со Степанкой убежали.

– Версень, отец Аграфены, – шепнул Степанка.

– Вижу, пойдем подобра.

Пробираясь меж народом, они незаметно покинули Красную площадь.

Уже зайдя в ближнюю улицу, Степанка огляделся, перевел дух облегченно:

– Избави попасться ему на глаза, и на Пушкарном дворе спасенья не станет.

* * *

Город заканчивался полем. За последними дворами, огороженная жердями, желтела созревающая рожь. В отдалении, на другом конце поля, виднелась деревня, избы в три, с постройками, а у темневшего леса – лентой большое село. От Москвы к деревне и селу тянулась избитая колеей дорога.

Вышли Сергуня со Степанкой в поле, остановились. Простор вокруг, воздух чистый и тишина. Не то что на Пушкарном дворе, литье горло дерет и от грохота в голове гул.

Неподалеку крестьянин, в лаптях, длинной рубахе навывпуск, усердно вымахивал косой. Тут же поблизости телега вверх оглобли задрала, лошадь выпряженная пасется. У мужика под косой трава ложится полукругами. Увидел незнакомых парней, косить перестал.

– Чьи будете?

– С Пушкарного двора мы, – ответил Степанка.

– Слыхал о таком, – кивнул крестьянин и ловко провел брусом по лезвию косы туда-сюда. – А меня Анисимом звать.

– Дай-ко, – попросил Сергуня, – давно не держал в руках.

Ловко взмахнул литовкой, вжикнуло железо по траве. Враз припомнился Сергуне скит, косовица на лесных полянах, ночевки на привялой траве.

Широко берет Сергуня, мужик только хмыкает:

– Горазд, горазд.

Прошел Сергуня полосу вперед и назад, спина взмокла. Степанка его сменил. У того рядок поуже в захвате, но зато идет Степанка быстрее, сноровистей. Сразу видать, крестьянский сын, в селе вырос.

Вымахивает, и мнится ему, что не Сергуня на его работу глядит, а Аграфена. Стоит за Степанкиной спиной, им любитесь. Радостно на душе у Степанки, легко.

Косили, пока Анисим не сказал:

– Будя, – и достал с телеги узелок.

Выложил на траву ржаную лепешку и четвертинку сала, созвал:

– Налетай, помощники!

Ели весело, запивали поочередно молоком из кринки. Поев, Сергуня улегся на спину. А над головой синее небо без облачка... Степанка рассказывал мужику о своем житье-бытье, а тот поддакивал и тоже жаловался:

– Боярин, говоришь, наказывает? И у нас не лучше. Мы за князем Семеном Курбским числимся. Вон та деревня и село – все его. Князь в Литве, а тиун его как что, так и катует смердов. Жизнь, она нашему брату везде одинакова. Так-то! Будет время, ко мне на село наведывайтесь.

На Пушкарный двор воротились поздно. В барачной избе храп вовсю, темень. Умачивались на нарах на ощупь. Степанка шептал Сергуне:

– На той неделе, как в город пойдем, ты подкарауль Аграфену. Скажи ей обо мне. Да не проговорись, где я, а то она ненароком скажет отцу. Я бы сам к ней сходил, да опасаясь боярина. И дворня меня признает, схватят, не вырвусь...

* * *

Аграфену отец чуть не силком тащил на богомолье. Еще бы куда ни шло поблизости, а то в Симонов монастырь. Будто в Кремле церковей мало.

Пока боярин Версень собирался, Аграфена выскочила во двор, съехала на животе по перилам высокого крыльца, осмотрелась. Чужой кот подкрадывался к воробьиной стае, прищурился. Проползет, затаится. Воробьи, беды не чуя, клюют рассыпанное зерно, щебечут.

Подняла Аграфена с земли камень, запустила в кота. Воробьи разлетелись, а кот фыркнул, полез на забор.

Какой-то отрок, белобрысый, в растоптанных лаптях, робко заглядывал в ворота, манил пальцем Аграфену. Аграфена мальчишке кулак показала, но тот не уходил. Любопытно стало Аграфене, чего ему от нее потребовалось, подошла. Отрок сказал скороговоркой:

– Степанку помнишь? Кланяться велел. В прошлый воскресный день видели мы тебя, да ты не одна была.

– Степанка где, почему сам не пришел? – удивилась Аграфена.

– Боярина боится.

– Вот те, – насмешливо протянула Аграфена. – Трусоват Степанка, а еще храбрился... Ты скажи ему, как выбьется в званье великое, пусть меня не запомнит. Хочу я его именитым видеть. – И, поворотившись на каблучках, убежала.

Сергуня в толк ничего не взял, о какой именитости речь, но не кричать же вслед, потер затылок и поплелся от боярских ворот.

* * *

Однако Степанке понятны слова Аграфены. Не забыл обещание.

День ото дня не мило Степанке пушкарское ремесло, но куда податься? Терпит. Подчас зло берет на Сергуню, что тянется он к работе, во все вникает. Степанке же огневой наряд нравится, ему бы пушкарем стать.

Заметил это Богдан, пообещал:

– Коль не по душе мастерство литейное, и не неволься. Но не торопись покидать нас. Может случиться, попадешь в пушкари. Дождись, когда явится государев наряд за пушками, просись у их огнестрельного боярина, гляди, и возьмет он тебя. Я же слово замолвить обещаю. А пока к пушке приглядывайся, секреты ее познавай. Она, что дите малое, сноров любит. И стреляет по-разному: у одного рявкнет, да попусту, у другого не промахнется. Тут и глаз нужен, и ветер учесть нужно, и знать, сколь порохового зелья засыпать. Да ко всему пушка пушке рознь. – Богдан подвел Степанку к навесу, где, сияя медью, выстроились готовые пушки. – Вишь, затинная пищаль, стреляет из-за укрытия дробинами, рядом с ней короткоствольная можжира. Она для навесного боя предназначена. Из нее ядрами крепость обстреливают. Тут на зелье пороховое упор. Да не забудь, можжира, что на нашем Пушкарном дворе сработана, двойной пороховой заряд выдюжит, не опасайся.

Каждую пушку Степанка обхаживал по нескольку раз, в зев заглядывал, рукавом пыль со ствола смахивал, не терпится ему, ждет не дождется, когда за огнестрельным нарядом придут княжьи воины.

Попробовал было Сергуня отговорить друга, сулил, мы-де, погоди, дай срок, обучимся, такую пушку выльем, всем на зависть, но Степанка того и в разум брать не хотел. С той поры начал отдаляться Степанка от Сергуни, охладевала их дружба.

* * *

На Покров прихватило Твердю. От боли корчился Родивон Зиновеич, за пузо двумя руками хватается.

Мастеровые друг другу подмаргивают, посмеиваются:

– Эх разбежался боярин, не иначе с жиру.

А Тверде час от часу не легче. К обеду совсем не вмоготу, еле голос тянет. Поманил Степанку:

– Помоги до колымаги добраться.

Степанка и рад. Глядишь, приметит отныне боярин да к пушкарям определит. Угождает Степанка Тверде, чуть не на загорбке донес до колымаги, усадил бережно, сам в ногах при-
мостился, поддерживал всю дорогу. С рук на руки передал боярыне Степаниде. Та всколго-
тилась, заохала. Беда какая! Великого князя бранным словом помянула. Видано ли такое,
силком угнать боярина на огневой двор! Не оттого ль беда с ним приключилась?

Неделю хворал Родивон Зиновеич. Уж боярыня его и парила, и дубовой корой поила,
насилу боль унялась. За болезнь даже телом подался, исхудал, кожа на щеках мешками
обвисла. И боярыня Степанида сдала. Раньше, бывало, день начинается, Родивон Зиновеич
отправляется голубей гонять, а Степанида скуки ради по хоромам коlobком перекачивается,
на челядь покрикивает. Нынче же по вине Василия не стало покоя в боярском доме.

Но то все еще ничего, коль не дошли б до Тверди слухи. Государь, прознав о его
болезни, принародно насмеялся. «Медвежья хворобь-де у боярина Родиона не переводится
еще от татарского переполоха».

Эти слова слышал боярин Версень. Наведаясь к Тверде. Поставив к стене посох, при-
сел на лавку, посокрушался вместе с хозяином:

– Боярские фамилии Василий на глумление отдал. Добро наши только, а то многие.
Ровно с челядью обращается. При дедах наших такого не бывало. Князя к боярам почет и
уважение выказывали.

– Истинно так, – печально согласился Твердя. – Мы же словом за себя не вступимся,
терпим. Вчера меня унижил, наемни боярина Яропкина за Мухамедку облаял, а то как-то
князя Шемячича попрекнул: «Вы-де, Шемячичи, деда моего Василия ослепили. Весь род
ваш на измену горазд, знаю вас...»

Не вошла, вкатилась в горницу Степанида, уловила, о чем речь, вставила слово:

– Единиться вам надо, бояре, да постоять за себя.

Версень поддакнул:

– Боярыня верно рассказывает, молчать будем – вольностей лишимся, что от роду нам
дадены. Васька нас в холопов своих обратит.

Погоревали бояре, посетовали, с тем и разошлись. Супротивное слово великому князю
не всяк сказать осмелится.

* * *

Сергуня поблизости стоял и видел, как Степанка Твердю обхаживал. Противно. А когда
Степанка от боярина воротился, упрекнул:

– Угодничаешь! Аль забыл, как он Антипа бил? – насупился он. – Эх!

Степанка побледнел, на Сергуню с кулаками надвинулся. Игнашка едва успел встать
меж ними, прикрикнул на Степанку:

– Не замай! Сергуня верно рассказывает, зачем гнешься перед боярином, словно челяди-
нец?

Отвернувшись от Степанки, Игната взял Сергуню за руку:

– Пойдем.

Они направились к литейке. У Степанки от гнева пропала речь. Кто-то положил ему
на плечо ладонь. Вздрогнул Степанка, поднял глаза. На него внимательно смотрел Богдан
и посмеивался в усы:

– Не таи на них обиды, парень. Вслушайся, может, робятки правду сказывают. Но уж коли и пересолили, так по молодости кто не ошибается.

Степанка промолчал, насупился обиженно, а Богдан подморгнул и разговор о другом повел:

– Слух есть, на той неделе пицальники за огневым нарядом явятся, не проворонь.

* * *

В воскресный день Игнаша позвал Сергуню в село. Хотели и Степанку с собой взять, да тот отказался. Пробудились они спозаранку, когда намайвшийся за неделю работный люд еще спал. Вышли из барачной избы на заре. Прохладно. Первая изморозь робко тронула привялую траву. Сергуня поежился, промолвил с сожалением:

– Зима настает.

– Летом оно и в самом деле лучше, не зябнешь, – поддержал его Игнашка.

Они покинули Пушкарный двор, пошли сонными улицами Москвы. Встречались редкие прохожие, и то все больше купеческого звания. На торг торопились, лавки открывать, изготовиться к приходу покупателей.

Иногда протарахтит по сосновым плахам мостовой крестьянская телега, груженная снедью, и свернет на боярское подворье.

– Вишь, сколь съедают бояре, – промолвил Игнаша.

– Сытно живут, – поддакнул Сергуня. – Нам, работному люду, такое и во сне не видывать.

Снова шли молча.

В мясные ряды проехал обоз с разделанными тушами. Из-под прикрывавших их рогож выглядывали окровавленные окорока.

На окраине встретился сторожевой наряд из княжьей дружины. Воины одеты богато, не то что Игнаша с Сергуней – в рваных зипунах. Поверх кольчуг кафтаны теплые. Под железными шлемами шерстяные шапочки, на ногах сапоги из толстой кожи. А Сергуня с Игнашей лаптями землю топчут.

За околицей избитая колесей проселочная дорога. Снопы давно уже свезли, и голое поле щетинилось желтым жнивьем.

Вдалеке лентой растянулись избы. То было село, где жил крестьянин Анисим, какому они со Степанкой траву косили. Хотел Сергуня сказать об этом, но Игнаша опередил:

– Нынче пора обмолота, – промолвил он. – Люблю эту пору. Ты вот верно думаешь, что мы тут, на Пушкарном дворе, от роду? Ан нет. Мы на селе жили. Вот здесь... За князем Курбским числились. А когда на Пушкарный двор работный люд набирали, отец и подался туда. Ко всему, мать в ту пору похоронили... Я тогда совсем мальцом был... В селе же брат отца, дядя Анисим, остался.

– Коли у них один Анисим, то я его знаю.

От неожиданности Игнаша даже приостановился. Сергуня сказал:

– Однажды со Степанкой вот тут неподалеку повстречали.

– А-а-а! – протянул Игнаша. – Один был либо с Настюшей?

– Это кто? – спросил Сергуня.

– Дочь дяди Анисима. Мне, значит, сестра.

День начинался тихий, солнечный. Пели на все лады степные птицы. В чистом воздухе далеко слышен их пересвист.

От села донесся стук цепов, разговоры. Посреди села мужики обмолачивали рожь. Раздевшись до порток и став в круг, они усердно вымахивали цепами. Сергуня спросил, отчего

две палки, скрепленные между собой крепкой кожей, назвали цепом, а место, где обмолачивают, – током. Но Игнаша лишь пожал плечами:

– Кто его знает. Так искони прозывают: цеп да ток.

Спины у мужиков загорелые, от пота блестят. Вблизи от тока гора снопов. Бабы и подростки снопы под цепи кладут, а когда мужики обобьют, спешат отвеивать солому от зерна, сыпать в коробы. То зерно сносят в амбары, отмерив добрую половину князьему тиуну.

Увидел Анисим Игнату, молотить бросил. В довольной улыбке растянулся рот:

– Племяш пожаловал! А это никак Сергуня? Старый знакомец. Где ж друг твой, Степанка, кажись?

И, не дождавшись ответа на вопросы, уже новые задавал:

– Брат как, Богдан? Поздорову ли?

– Кланяться велел, – успел ответить Игнаша.

– И добре. Настюша! – позвал Анисим.

– Чего? – откликнулась невысокая плотная девчонка в сарафане до пят и опущенном по самые брови легком платке.

– Гостей встречай, – сказал ей Анисим.

Настюша повернулась к Игнаше и Сергуне, радостно воскликнула:

– Игнашка!

Сергуню она словно не заметила. Он, однако, уловил, как Настюша метнула в него взглядом и тут же отвела взор. И еще приметил Сергуня, что у Настюши под длинными темными ресницами глаза спелыми сливами синеют. Из-под платочка коса ниже пояса свисает.

Дрогнуло сердце у Сергуни, кровь к лицу прилила. В голове мысль молнией мелькнула: «Ежели поглядит на меня сейчас, догадается». И еще пуще краской залился.

К счастью, Анисим позвал их:

– Ну-тко помолотите, согрейтесь с дороги, а Настюша нам тем часом щец сварит.

За работой не почуяли, как и день минул. К вечеру, на заходе солнца, покинули село. Дорогой Игнаша подтрунивал:

– Вижу, понравилась тебе моя сестра. Она у меня и в самом деле ладная да душевная.

Сергуня смолчал. Да и что отвечать Игнаше? Разве соврать, но к чему?

* * *

День ото дня становился Степанка нелюдимей. Не проходила обида на Сергуню и Игнашу. Терял веру и в пушкари попасть. Временами подумывал, не податься ли в казаки, на окраину, как Аграфене обещал.

Приметил Богдан, что со Степанкой неладное творится, попробовал поговорить, сказать, что не к добру распаляет себя, попусту, но тот и слушать не захотел.

Чем окончилось бы все, кто знает. Скорей всего сбежал бы Степанка с Пушкарного двора, и числился б он по спискам беглым от дел государевых, кабы не явились вскорости за огневым нарядом пушкари.

Уломал Богдан их боярина взять Степанку к себе. «Не беда, что пятнадцатое лето живет на свете, телом крепок и уж больно охоч к огневому наряду. Надежды парень подает немалые. Выйдет со временем из него отменный пушкарь...» И хоть был тот боярин молод, но без спеси. К словам старого мастера прислушался.

Глава 5

Московские будни

Князь Курбский возвращается в Москву. На государевой псарне. Батоги за недоимку. Тиун Еремка. Государево заступничество. Игумен Иосиф и государь Василий. Пыточная изба

Зима доживала последние дни.

По ночам еще держались морозы, но днем солнце выгревало и звонко выстукивала капель. Дорога под копытами превратилась в снежное месиво. Скользко.

Лес голый, мрачный.

Сиротливо жмутся березы, сникли осины, качают в высоком небе игластыми головами сосны и даже вековые дубы стонут на ветру. И тепло только разлапистым елям. Стоят себе красуются. Длинной лентой растянулся санный поезд князя Семена Курбского. Княжья челядь, охранная дружина скачут впереди и позади поезда.

Курбский откинулся на подушках, остался один на один со своими заботами.

Из Вильно пришлось уехать неожиданно. Три лета провел князь Семен при дворе великого князя Литовского. Хоть давно тянуло домой, в Москву, но не мог. Прикипел сердцем к великой княгине Елене. Но о том князь Семен даже виду не подавал. И не потому, что опасался гнева ее мужа, великого князя Александра, а берег честь Елены.

Может, еще бы не один год прожил князь Курбский в Вильно, но скоропостижно умер Александр. Позвав князя Семена к себе, Елена сказала:

– Княже Семен, в глазах твоих читала я все. Спасибо. Нынче еще раз сослужи мне. Поспешай в Москву, скажи брату Василию, какая беда стряслась. Чую, за великий стол литовский разгорятся страсти. Обскажи все. Еще передай, паны меня притесняют, требуют веру латинскую принять. Пусть Василий за меня вступится.

Курбский со сборами не затянул, на той же неделе пустился в путь.

Зимняя дорога нелегкая. Тысячеверстый путь в двадцать дней уложили. Кони подбились, отощали. Притомились люди, не чают, когда в Москву въедут. Каждой ночевке рады. А уж коли баня предвидится – целый праздник.

На Авдотью¹² весна зиму переборола. Снег осел, начал таять. Курбскому слышно, как ездовые перебрасываются шутками:

– Марток позимье, вишь, как дружно забрал.

– Знамо дело, Авдотья-плющиха снег плющит.

– С нее весне начало.

Чавкают конские копыта по мокрому насту, сани заносит из стороны в сторону.

К обеду добрались до Можайска. Втянулись распахнутыми на день крепостными воротами в город, подвернули к усадьбе воеводы Андрея Сабурова. Курбский, отдернув штормку, выглядывал нетерпеливо. Надоело и устал, зад отсидел.

У самой усадьбы воеводы поезд остановился. Хозяин выскочил на крыльцо, зашумел на челядь. Те засуетились, забежали. Проворный холоп помог Курбскому выбраться из саней. Поправив отороченную собольим мехом шапку, молодой, статный князь шагнул навстречу воеводе. Обнялись. Сабуров справился о дороге, здоровье. Потом вдруг спохватился:

– А у меня, княже Семен, братец самого государя, князь Семен гостит. Из Дмитрова, от брата Юрия, ворочаясь, остановился на передышку. То-то возрадуется.

¹² Церковный праздник в марте.

– Вона что, – как-то неопределенно произнес Курбский.

– Проходи, княже, в горницу. Я же следом буду. Вот только подуправлюсь маленько.

– Не забудь, боярин Андрей, моих людей приютить да накормить. Еще, буде можно, пускай им баню истопят, а коней в тепло поставят и зерна отмерят.

У порога Курбский оббил сапоги, потоптался, вытирая подошвы, и только после того толкнул дверь в горницу.

Князь Семен Иванович скучал, сидя на лавке. Волос у князя взъерошен, лицо брюзгливое. Вскочил, увидев Курбского, обрадовался:

– Княже Семен, сколь не виделся! Раздевайся, трапезовать будем.

И полез лобызаться.

Курбский не торопясь скинул с плеч шубу, бросил на лавку, рядом положил шапку, присел к столу. Семен Иванович налил из ендовы по кубкам хмельного меда, спросил:

– Какая нужда, княже Семен, прогнала тебя в непогодь и как там сестра моя?

– Великая княгиня поздорову, – ответил Курбский. – Но в горе пребывает и печали.

Умер великий князь Александр.

– Эко беда, – враз прохмелел Семен Иванович. – В Москве о том не знают?

– С тем и поспешаю к великому князю Василию.

При упоминании этого имени Семен Иванович нахмурился.

– Василий! Вишь ты, Елена его уведомляет, а о нас, иных своих братьях, позабыла.

Видать, и со счета скинула.

Курбский уловил неприязнь, сказал примеряюще:

– Не бранись, князь Семен Иванович. Верно, некого послать княгине Елене, кроме меня. А я один, вот и велела она в первую очередь Василию сообщить. Он все ж великий князь и государь.

– Великий государь, – поморщился Семен Иванович. – Беда, что притесняет нас Василий, мы же молчим. Мало городов ему, так еще и вольностями нашими норовит завладеть. К братцу Юрию и ко мне бояр своих для догляда приставил. Меня на Москву кликал, стращал... Да что нас! Всеми князьями и боярами помыкает. Вот тебя, князь Курбский, хоть ты и древнего рода, а Василий норовит все одно в холопы обратить.

Курбский вспылел, лицо в гнев налилось:

– Нет, князь Семен Иванович, врешь! Служить великому князю Московскому я всегда готов, государем величать – величаю, но в холопах мы, Курбские, не хаживали. И ежели правдивы твои слова, князь, то я о том Василию в глаза скажу.

– Ха! Удостоверишься, – рассмеялся Семен Иванович. – Кой-кто из бояр на Москве уже учуял его ласку.

Вошел воевода Сабуров, и разговор оборвался. Хозяин уселся за стол, принялся угощать князей. Семен Иванович сказал ему:

– Слышал, воевода, великий князь Литовский помер?

– Только что прослышал от людей князя Семена.

– Ну, княже Семен, – снова сказал Семен Иванович, – расскажи, что там после Александровой смерти в Литве? Паны небось стол княжеский делят.

– О том не знаю, но, верно, будет так. Из панов же в самой большой силе Глинский Михаил.

Курбский поднялся из-за стола.

– Дозволь, князь Семен Иванович, и ты, воевода Андрей, мне ко сну отойти. Завтра спозаранку в дорогу. Сосну по-человечески, а то все в санях, сидя.

– Не неволим, – раздраженно махнул Семен Иванович.

Сабуров подхватился:

– Отправляйся, княже Семен. За дверью холоп дожидается, он проводит тебя в опочивальню.

Курбский откланялся.

* * *

Миновали Воробьево село. На взгорье огороженное высоким тыном подворье великого князя с бревенчатым дворцом, тесовыми крылечками, слюдяными оконцами и разной обналичкой.

Раньше в летние дни отдыхал здесь государь Иван Васильевич с семьей. Теперь любит наезжать сюда и Василий. Понедельно живет. Вблизи охотничьи гоны добрые. Леса сосновые и березовые. Чуть в стороне озеро, карасями богатое. Раз невод затянешь – полный куль.

Гремя барками, сани остановились. Ездовые брань завели. Курбский приоткрыл дверцу, спросил недовольно:

– Почто задержка?

Ездовой побойчее ответил:

– Конь в постромку заступил, сей часец ослобоним.

С горы, в чистом ясном дне, чуть виднеется Москва. Напрягая глаза, Курбский всмотрелся. Разобрал колокольни церквей, стрельчатые башни Кремля.

Потеплело в груди у князя Семена, и сердце забилося радостно.

Поезд снова тронулся. Кони побежали рысью. На въезде в Москву застава. Караульная изба свежесрубленная, еще и бревна сосновые не успели потемнеть. Курбский подумал, что, когда в Литву отправлялся, ее здесь не было.

По городу поезд пробирался медленно. То и дело челядины выкрикивали пронзительно, пугая прохожих:

– Берегись!

Пропетляв по улицам, подъехали к родовой усадьбе Курбских. Со скрипом распахнулись ворота. Захлопотала, забегала многочисленная дворня.

Князь Семен вошел в хоромы, осмотрелся. Все как и было до отъезда. Скамьи вдоль стен, сундуки тяжелые, железом полосовым окованные. Все до мелочи знакомое, будто вчера дом покинул.

Прибежал тиун, запыхался, никак не отдышится, долговязый, взъерошенный, глазами блудливыми стрижет. От князя то не укрылось, спросил с насмешкой:

– Как хозяйство вел, Еремка, много ль уворовал?

– Спаси Господь, – ойкнул растерянно тиун.

– Сколько недоимок?

– Есть, но не слишком. Все боле за смердами из подгороднего сельца.

– На правеж отчего не ставишь? – сурово потребовал князь.

– Как «не ставил»? Ставил, да прок один, – сокрушенно пожаловался тиун.

– Так ли? – прищурил один глаз Курбский – Погоди, Еремка, у государя побываю да усталъ скину дорожную, самолично поспрошаю, отчего княжий оброк утаивают. Всех мужиков, за кем недоимка числится, гони на усадьбу.

Тиун чуть не сломился в поклоне.

Курбский грозно нахмурился, сопел. Наконец промолвил:

– Кафтан новый и сапоги. Да не мешкай. Государю, поди, уже донесли о моем возвращении.

* * *

У государя радость превеликая. Любимая, борзая, Найдена, ощенилась. Василий, как прослышал о том, сразу на псарню заспешил.

В полутемной просторной псарне тепло, едко разит псиной.

Отгороженные друг от друга, скулят и подвывают породистые собаки. Государь любит охоту с борзыми.

Усевшись на маленькую скамеечку, Василий уставился на Найдену. Позвал ласково.

Борзая разлеглась на соломенной подстилке, лижет щенков. При виде хозяина подняла голову. В усталых глазах благодарность.

Седой псарь подставил ей глиняную миску с молоком.

– Не студеное, Гринька, суешь? – строго спросил Василий.

– Нет, осударь, из-под коровы, парное.

– Ну, ну, гляди, с тебя спрос.

– Чать не впервой, – обиделся псарь.

Найдена поднялась на длинных ногах, залакала громко, жадно.

– Не мог ране накормить, – заметил недовольно Василий.

Псарь смолчал.

Мягко ступая, подошел оружничий, боярин Лизута, остановился за спиной государя. Из-под меховой шапки выбились космы рыжих волос. Темная шуба из заморского сукна на плечах усеяна перхотью. Склонившись к уху великого князя, вкрадчиво зашептал:

– Осударь, князь Курбский на Москву из Литвы воротился.

Василий повернулся к нему, вскинул брови:

– Что из того?

– В Можайске Курбский встречу имел с братцем твоим, Симеоном.

– И о чем у них речь велась?

– О том не проведал, осударь, – дугой выгнулся Лизута.

– Отколь известно тебе, боярин, о встрече Семена с Курбским?

– Истинный слух сей, осударь. Можайский воевода, Андрюха Сабуров, письмом меня уведомил. Гонца срочного пригнал. А еще прописал Андрюха, что великий князь Литовский Александр скончался.

Василий сказал хрипло:

– Что? Отчего сразу не сказал мне о том?

Боярин задрожал. Василий перевел взгляд с Лизуты на Найдену, долго думал о чем-то. Потом вспомнил о стоявшем рядом Лизуте, сказал:

– За верность твою, боярин, жалую тебя песиком от Найдены. Как подрастет, возьмишь. – И кивнул на беспомощно ползающих по соломе щенков.

Лизута снова прогнулся в крючок. На дряблом лице угодливость.

– Милостив ты ко мне, осударь.

* * *

Сани катились вдоль Москвы-реки. Лед посинел, местами подтаял, но еще не тронулся. Чернели на берегу вытащенные с осени лодки. Слеглые сугробы грязные. От реки неровными улицами разбегались дома, а впереди по ходу саней каменные кремлевские стены с круглыми башнями, маковки церквей, высокие великокняжеские и митрополичьи палаты.

От конских копыт разлетались комья мокрого снега, сани забрасывало на поворотах.

День на исходе, и солнце пряталось за окраину города. Круглое светило напоминало Курбскому огромный зарумяненный блин.

Встречные прохожие уступали княжьим саням дорогу.

Князь Семен жадно всматривался во все родное, но позабытое, радовался возвращению.

Пересекли Красную площадь, мосток через ров, въехали в Кремль. У Грановитой палаты Курбский вылез из саней. От княжьего крыльца навстречу спешил оружничий Лизута, кланялся на ходу, улыбался щербатым ртом.

– Осударь ждет тебя, княже.

Князь Семен хотел было спросить, откуда государю известно о его приезде, но Лизута семенил впереди, угодливо распахивал перед Курбским двери.

Вдоль расписных стен на подставках горели восковые свечи, и оттого в хоромах пахло топленным воском.

Василий был один в горнице. Он сидел в высоком кресле, задумчиво опустив голову на грудь. Заслышав шаги, встрепнулся, дал знак Лизуте удалиться. Зоркие глаза смотрели на князя. Курбский остановился, отвесил низкий поклон, пальцами руки коснулся пола.

– Знаю. Все ведомо, князь Семен, не сказывай. Готов ли ты, князь, снова ехать в Литву?

– Ежели ты велишь, государь, – согласно кивнул Курбский.

– На той неделе повезешь письмо сестре, великой княгине Елене. Да то письмо беречь должен паче ока. Отдашь в собственные руки Елене. Чтоб о нем кардинал не прознал да иные паны. Мыслишь, какую тайну тебе доверяю? Гляди! – И погрозил строго пальцем.

Курбский выпрямился, сказал с достоинством:

– Я, государь, не за страх служу, а за совесть. – И, смело посмотрев в глаза великому князю, спросил: – Государь, не клади на меня гнева, но хочу я знать, верный ли слух, что намерен ты князей и бояр вольностей лишить и в холопов своих оборотить?

Потемнел Василий лицом. От неожиданных дерзких слов на миг потерял речь. На вопрос ответил вопросом:

– Уж не брата ли Семена слова пересказываешь? Хочу спросить тебя, с умыслом аль ненароком встречу имел с ним в Можайске?

И затаился, дожидаясь, что скажет князь Курбский. А тот ответил спокойно:

– Не знаю, государь, добрый либо злой человек тот, осведомивший тебя, но одно знаю, напрасно распалял он тебя. Не было у нас во встрече с князем Семеном Ивановичем злого умыслу противу тебя, государь.

– Верю тебе, князь, – остыл Василий – А что до твоего вопроса, то скажу: князьям и боярам я не недруг, ежели они не усобничают и во мне своего государя зрят. Однако высокоумничанья и ослушания не потерплю. Уразумел? – Взгляд его стал насмешливым. – Хотел ли ты еще чего спросить у меня?

Курбский покачал головой.

– Коли так, – снова сказал Василий, – не держу. Мои же слова накрепко запомни.

Он встал, высокий, худой. Сутулясь, подошел к Курбскому.

– Иди, княже Семен. Будет в тебе надобность, велю позвать. Ты же готовься в обратную дорогу.

* * *

Малый срок отвел великий князь Курбскому на сборы. Пока колымаги с саней на колеса ладили да съестного в дорогу пекли и жарили, незаметно неделя пролетела.

Перед самым отъездом князь Семен самолично все доглядеть надумал. Тиуну доверься, ан упустит чего, где в пути сыщешь?

Осматривать принялся с рухляди. Ключница с девками внесли лозовые ларцы, выложили на просмотр князю одежды. Тот посохом о пол постукивает, разглядывает молча. Доволен остался, только и заметил, что кафтанов весенних уложено недостаточно.

Из хором направились в поварню, к стряпухе. Впереди князь Семен, позади ключница с тиуном. Тиун лебезит, рад князьему отъезду.

Шагает Курбский через двор, хмурится. Из дальней конюшни крик донесся. Остановился князь Семен, брови в недоумении поднялись. Тиун Еремка догадался, наперед забежал, доложил спешно:

– Аниська, что из твоего, княже, подгороднего сельца, орет. Батогов отведывает за недоимку.

– Ну, ну, – промолвил Курбский, – давно пора холопу ума вставить, дабы иным неповадно было княжий оброк утаивать.

– Так, княже, – поддакнул тиун, – батого из рук не выпускаю, спины холопские чешу, но господского добра не упущу.

Курбский даже приостановился, недоверчиво глянул на тиуна. Потом погрозил ему и ключнице:

– Ворочусь из Литвы, доберусь и до вас. Ох, чую, заворовались вы у меня!

– Батюшка наш, князь милосердный, – всплеснула пухлыми ладошками ключница, – ужель позволю я?

Еремка в один голос с ней прогнусавил:

– Невинны, княже.

– Ладно, – поморщился Курбский, – нечего до поры скулить. – И толкнул ногой дверь в поварню.

* * *

Необычная была у Сергуни минувшая неделя. Они с Игнашей собственноручно бронзу варили и пушку отливали. И хоть все вроде и знакомо, и Антип с Богданом рядом наблюдают, всегда готовые прийти на помощь, а к работе приступали робко. Ну как не получится?

Однако и бронза удалась, и мортира вышла славная. Даже старый мастер Антип, скупой на похвалу, крикнул от удовольствия и погладил пушку.

Богдан тоже одобрил:

– По первой сойдет...

Хотелось Сергуне поделиться с кем-нибудь своей радостью. Решил в сельцо сходить, Настюшу повидать, чай обещал ей.

Предложил Игнате, но тот отказался.

Идет Сергуня весело, песенку мурлычет. На дороге грязь по колено. Сергуня держится полем.

Вон и сельцо показалось. Настюшу узнал издалека. Она несла в руках охапку хвороста. Увидела Сергуню, растерялась.

И хоть была на ней латаная шубейка и застиранный платок, а на ногах лапотки, Сергуне она виделась самой красивой из всех девчонок. Робко сказал:

– А мы с Игнашей можжиру отлили.

И осекся. Большие глаза Настюши смотрели на него печально. И вся она была какая-то сникшая, не веселая и смешливая, какой видел ее Сергуня в первый раз.

– Отца высекли, – одними губами выговорила она. – Тиун Еремка.

Застыдился Сергуня, что при горе довольство свое напоказ выставил.

В избе задержался у порога, пока глаза обвыкли в темноте.

Анисим лежал на расстеленной на земляном полу домотканой дерюге, босиком, боро-денка задралась кверху. Обрадовался приходу Сергуни.

– Один аль с Игнашей?

Сергуня ответил:

– Не мог Игнаша, – и осмотрелся.

Печь чуть тлеет. Стены не закопченные, чистые, но голые. Полочка над столом. У двери бадейка с водой. Перевел взгляд Сергуня на Анисима.

– Больно?

– Заживет, о чем печаль, – бодрился Анисим. – Богдан как?

– Кланяться велел.

– Не забывает, – довольно вздохнул Анисим. – Ты ему не говори, как меня князьи челядинцы отделали. Богдану своих горестей вдосталь.

– Сошел бы ты, дядя Анисим, от Курбского на иные земли, – посоветовал Сергуня.

У Анисима глаза сощурились. Махнул рукой:

– К другому князю аль боярину? Либо на монастырской земле поселиться? Нет уж. Князь да бояре, когда нашего брата переманивают, завсегда стелют мягко. Особенно те, кто родовитостью помельче. У энтих в смердах нехватка. А переманят, изгаляются. Недород аль град, князю, боярину все нипочем. Ему оброк в срок доставь. А коль задолжался, крестьянская шкура в ответе.

Перевел дух, подморгнул:

– Надоело тебе со мной. Подь к Настюше. Верно, к ней, не ко мне топал. – И улыбнулся. – По моей спине не тужи, заживет. Ее не единожды бивали...

В чужой беде забылась своя недавняя радость. Ушел Сергуня из избы с тяжестью на сердце.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.